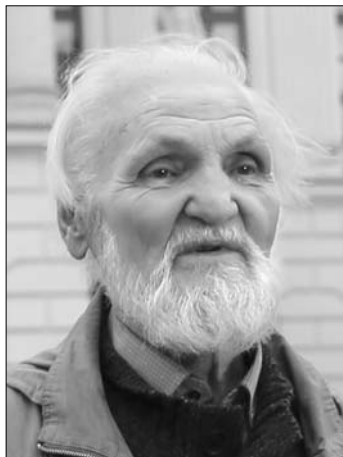


ВЛАДИМИР КРУПИН



## ГРОМКАЯ ЧИТКА

ПОВЕСТЬ

**Есть в жизни счастье**

Иду по набережной Ялты и сразу представляю: да, вот тут гуляла уехавшая от мужа Дама с собачкой, и тут встретил её уехавший от жены Гуров. Реально гуляли, даже в этом не сомневаешься. Хотя ирреальны, выдуманы, сочинены. Нет, в том и штука — живые. Как иначе: имеют имя. А оно даётся при крещении. Не крещёные? Тогда как им умирать? А они не умрут: им Чехов бессмертие дал. А кто он такой, чтобы людьми распоряжаться? Он писатель. А-а.

А писателей в Ялте всегда много. В знаменитом Ялтинском Доме творчества. Туда я попал в самом начале 70-х годов прошлого века. А вроде так недавно, но так радостно и ярко помнится. А как получилось: помог очень знаменитый тогда писатель Владимир Тендряков, земляк. Я работал редактором в издательстве “Современник”, и мне досталась для редактирования его книга. Редактировать знаменитого Тендрякова? Смешно! Я даже робел перед ним, но после первых встреч увидел, что он прост в общении, даже с юмором. Я осмелился показать ему свои рассказы, составлял первую книгу. Владимир Фёдорович их прочёл и сам вызвался написать предисловие. Он-то и предложил вместе поехать в Ялту. Хотя формально я не мог претендовать

---

*КРУПИН Владимир Николаевич родился в 1941 году в Вятской земле. Служил в армии, окончил Московский областной пединститут. Автор многих повестей и рассказов, романа “Спасение погибших”, путевых заметок о Ближнем и Среднем Востоке, о Константинополе. Автор “Православной азбуки”, “Детского церковного календаря”, книги “Русские святые”. Лауреат Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия. Печатается в нашем журнале с 1972 года. Живет в Москве.*

на путёвку в Дом творчества: не член Союза писателей. Но его жена, красавица Наталья Григорьевна, всё прекрасно устроила.

И вот — в руках у меня путёвка, на работе выпросил отпуск. Купил билет и через три дня после Тендряковых оказался в Крыму. От вокзала Симферополя троллейбусом до Ялты, там от остановки поднялся по восхитительной змееобразной дороге среди вовсю цветущей зелени, и предо мной предел мечтаний — Дом творчества.

В регистратуре спросил о Тендряковых. Да, здесь, на втором этаже. Он каждое утро бегает к морю. Оказывается, они говорили им обо мне. Что приеду, что мне уже выделено место жительства. Не апартаменты, а служебная комната с маленьким окном, выходящим во двор. Кровати нет, только диван. Но это для меня был такой восторг! Стол есть. Чего ещё писателю нужно: голову с собой привёз, не забыл.

В комнате громко работало радио. “Мицно время двенадцать годин, двадцать хвилини”, — услышал я. А вскоре радио поведало, что “погода буде хмарна, без опадив”. Радио, чтоб не мешало, выключил.

Прежний житель этого помещения, сантехник, высокий и белокурый, был первым моим знакомым в Доме творчества. Он особо со мной не церемонился, да и я с ним.

— Александр, — сказал он, — с утра Сашкой звали. А здесь вообще Сашок. Сашок и Сашок. А уже тридцать пять. А за что тебя сюда загнали? Со мной сравнивали. За меня не переживай, у меня в городе комната в коммуналке. Тут иногда падал на пересышку. Но ты разрешишь иногда зайти, пересидеть полчаса?

В дверь постучала и вошла дежурная:

— Сашок, на тебя заявка. С кухни. Позвоню, что уже идёшь, — и исчезла.

— Беру под козырёк, — отвечал он ей, а мне добавил: — Что б у них было, когда бы не было меня. И солнце б не вставало. Иду! — Потянулся. — Эх, не пора ли нам пора делать то же, что вчера. — И мне: — Принимаешь? Вечером посидим? А? Земеля! Душа винтом! Тут у меня и стакан свой персональный. И один запасной. Пользуйся. Не давай им простаивать.

— Ни в коем случае, — твёрдо ответил я. — Я приехал работать!

— А кто не даёт, работай. Но и жить надо. А то жизнь пройдёт, и жизни не заметишь. Работа! С работы кони дохнут. Молодой, успеешь нагорбатиться.

— Ни за что! Я с таким трудом вырвал отпуск, не соблазняй.

— Ну, смотри, а я, как пионер, всегда готов.

### Творческий режим

Конечно, хотелось скорее увидеть наставника, как я про себя называл Тендрякова, но не посмел беспокоить. Я уже знал, что он человек железной дисциплины. Несомненно, работает. Он сам перед обедом меня нашёл. Осмотрел мою келью, проверил, есть ли в кране вода, одобрительно глянул на стол, на котором я уже поставил пишущую машинку, разложил бумаги.

— Всё! Жить можно! Идём обедать. Место тебе мы заняли, сидим за одним столом. Втроём. Я четвёртого просил не подсаживать: лишние разговоры.

На крыльце ждала Наталия Григорьевна. С Владимиром Фёдоровичем исключительно все здоровались. В том числе и знаменитости, известные мне по книгам. Но он особо в разговоры не вступал. Пришли по дорожкам меж цветников из главного корпуса в обеденный. Просторный обеденный зал ресторана был полнёхонек. Приятная музыка звучала поверх разговоров, звяканья ложек и вилок. Во время обеда Владимир Фёдорович объявил мне мои обязанности:

— Ни с кем не останавливайся, в разговорах не вязни, никаких шахмат, никакого бильярда, никакого трёпа, никакого всякого остального! Позавтракал — бегом за стол! Краткая прогулка — опять за стол! Пообедал — спать на час-полтора: кровь после обеда должна быть в желудке, а не в голове. Проснулся — за стол! Только так! Каждый вечер тут кино, фильмы

взят с закрытых показов, но не увлекайся, ничего это не даёт. Ну, увидишь постели, драки, и что?

— Володя, — вставила слово Наталия Григорьевна, — сегодня “Гений дзюдо”.

— Да, это надо, — согласился Владимир Фёдорович, — увидишь, как победы достаются. И — никакого любования морем: не курортник — ломовая лошадь. Но с утра, — он назидательно вознёс указательный палец, — до завтрака бежим к морю и заплываем. Бархатный сезон. То, что умеешь плавать, не сомневаюсь: ты парень вятский.

— Володя, — попробовала остановить его жена, — через неделю ноябрь. Это ты такой ненормальный, а ему зачем?

— Тоже для работы, — хладнокровно отвечал мой наставник. — Да, и ещё: питайся, как следует, здесь кормят от пуза...

— Володя!

— А что, неправда? Тут осенью самый цвет из всех республик, сплошные ходячие памятники. Номенклатура. В общем, налегай на калории. Надо голову питать. От писательства устаёшь больше, чем от физической работы. Там землю покопал, лес повалил, шпалы поукладывал, на тракторе посидел — поел и спать. И голова свободна. У нас она работает даже не в две-три смены, круглосуточно. Или у тебя не так? Ты ночью вскакиваешь что-нибудь записать? Да? Тогда всё в порядке. И вскакиваешь, и просыпаешься уставший. Вот почему надо взбадривать себя купанием и поддерживать питанием. Значит, так. Заканчиваю инструкцию: в шесть пятнадцать ты одет, обут, хотя можешь и босиком бежать...

— Володя!

— Одет, обут, уже в плавках, сухие трусы и полотенце под мышкой, стоишь у выхода. Через секунду я выскакиваю и, ни слова не говоря, с места бегом к морю, к водным процедурам. Молча. Каждый думает о том, на чём вчера закончил работу и о том, с чего сегодня начнёт продолжать. Дышать носом, выдыхать ртом. Не уставать, не отдыхать. Прибежали — сразу в воду. Заплыли — выплыли, растёрлись — обратно. Если за мной не будешь успевать — ничего страшного, отставай, придёшь один: дорогу знаешь. На завтраке два-три слова и — по коням! Ни с кем не разговаривай, знакомств не заводь. А то классики любят при себе молодых дергать. Чтоб их жён на прогулку выводить да для них за мороженым бегать.

— Володя!

— Всё! — скомандовал учитель. — Иди! Садись за стол! Не пишется, всё равно сиди. Не смей из-за стола вставать. Дверь не закрывай, ибо могу прийти проверить, работаешь или нет.

Что было возразить? Конечно, он никогда не проверял и ни о чём не спрашивал. А Наталия Григорьевна, чувствуя мои страдания, утешала:

— В следующий раз приезжайте с женой. И всё пойдёт. А в Москве приходите с ней к нам на её выучку. Писательская жена — это жена самая страдающая. Писателю, когда он работает, всегда ни до кого. Дело писательской жены — не мешать мужу, скрываться с его глаз. Но в нужное время быть рядом.

## Второй знакомый

Пошёл в свой однооконный рабочий кабинет. И тут же нарушил запрет учителя — ни с кем не знакомиться. Перехватил писатель из западной Сибири. Сергей. Старше меня, уже с книгами, уже член Союза писателей. Поджарый, энергичный. Сходу попросил меня взять на редактирование его рукопись.

— Давай на ты, чего там церемониться: одно дело делаем. Прошу: веди мою книгу. Я бабам не очень верю. Они как корректорши — это неплохо, а когда лезут в текст, так прямо как в душу. Да они все у вас там в издательстве городские, причём блатные, дочери всяких секретарей Союза писателей. Разве не так? Что они, голодали, что ли, со мной в моём детстве? Чего понимают в жизни? Жили с пайками, не мёрзли.

Этот Сергей знал про моё издательство больше, чем я. Это вообще при-  
суще провинциалам. Сплетни и новости московские им более, чем москви-  
чам, всегда ведомы. Так что, уехав из Москвы, попал я на московские раз-  
говоры. На мою беду, Серёжа приехал в Ялту ещё и с капиталцем. Откуда  
денежки, не скрывал.

— Я пробил договор под соцзаказ. Аванец приличный. Так что пора  
пропивать. Помогай! Ты первый день? Я неделю уже, тут выпить не с кем.  
Сам с собой понемногу поддаю. Тут всё гении ходят, сплошь суперклассики.  
За версту величием тянет.

— А с этим сантехником не пил? Сашок.

— Да как-то в рассуждение даже не брал. А о чём с ним говорить? Зна-  
ешь ведь анекдот: двое ловят третьего, взяли штуку, расплескали. Третий  
утёрся, говорит: “Ну, всё, парни, побежал. — Куда? — А поговорить?”  
Пьём-то ведь не для пьянства, для общения. О, слушай, пока не забыл.  
Про второй фронт. Они же, Черчилль и Рузвельт, разве нас любили? Жди!  
Ненавидели. Дождёшься от них. Выжидали, кто кого свалит. Только после  
Сталинграда сообразили, что и без них обойдёмся, стали шевелиться. А до  
этого вот анекдот. Фронтовой. “Ну, как там второй фронт? — Да вроде не-  
множко прочерчиллевится. Но пока всё безрузвельтивно”. Вот русский  
язык. Только нам и понятно. А расскажи китайцу, не поймёт. Японцу там.

И слопал у меня этот Серёжа часа полтора. И спросить было неудобно,  
зачем он в Дом творчества приехал. Анекдоты травить? Знал он их массу.  
И знал, например, что председатель правления Союза писателей России Ле-  
онид Соболев часто ходил к Хрущёву, и тот всегда ждал его со свежими  
анекдотами.

— Ну, однажды он Никите не угодил. Тогда же был лозунг “Догоним  
и перегоним Америку” по всяким показателям.

— Да, — поддержал я, — на токарном станке работал, назывался  
ДИП-200, то есть “догоним и перегоним”.

— Ну, вот именно. А Никите говорят: “Догнать можно, перегонять  
нельзя. — Почему? — Голую задницу увидят”. А в бильярд сгоняем?

— Серёжа, не могу. Мне надо ещё на почту. Домой позвонить.

— Я с тобой. Тоже давно не звонил. Тут, я покажу, по дороге к морю,  
не доходя до бульвара, есть автомат. А рядом газетный киоск, деньги меня-  
ют. Телефон и в Доме творчества есть. Но он занят постоянно. Ты послу-  
шай их разговоры: “Сёмочка, не забывай гаммы, Сёмочка, не забывай тёп-  
лый шарфик. Сёмочка, ты помнишь свою бабушку?”

Что ты будешь делать? Пошли звонить. По дороге он ещё угощал анек-  
дотами, в основном, “чапаевскими”.

— “Василий Иванович, — говорит Петька, — белого в плен взяли. Зна-  
ешь, как я его пытал? — Как? — Вечером напоил вусмерть, утром опохме-  
литься не дал. — Садист ты, Петька”. Да, вот тебе политический: “Ленин  
показал, как надо управлять государством, Сталин показал, как не надо,  
Хрущёв показал, что государством управлять может полный дурак, Брежнев  
показал, что государством можно вообще не управлять”.

Позвонил домой. У них холодно. Отопление пока не включили. Дочка  
простыла, сидит дома.

— О нас не беспокойся, — сказала жена, — у нас всё хорошо. Работай.

Серёжа пошёл в “разливуху”, уличную пивную, но не пивом торгую-  
щую, а вином в разлив.

— Ленин в разливе. Помнишь такую картину? Там с ним Зиновьев был,  
говоря по-русски, Апфельбаум.

### Выше уровня моря

В общем, я вернулся в свою комнату, сел за стол и понял, что не напи-  
шу ни строчки. Даже не из-за Сергея. Что-то не пошло у меня. Может, отто-  
го, что встретились несколько знаменитостей. И пришлось поздороваться. Тут  
уже я сам вспомнил, не анекдот, а историческую быль: Павел I пригласил  
Державина на приём в дворцовую библиотеку и, указывая на бесчисленные

шкафы с книгами, сказал: “Вот ведь, Гавриил Романович, сколько уже написано, а всё пишут и пишут”. Что Державин ответил, не знаю. Наверное, вроде того, что: “Они ничего другого делать не умеют”.

И я решил посетить библиотеку Дома творчества. Это и Владимир Фёдорович не запретит. В библиотеке не было никого. Ну, конечно, позавтракали творцы, сидят, молотят. А их продукция — вот она. Огромный отдел книг с автографами бывавших здесь писателей и поэтов. Подумал: может, когда и моя книга тут будет? И тут же, охлаждая сию мечту, высветился вопрос: “И что это изменит?” Эти сотни томов, толстых и тонких, что изменили? Тоже, небось, дерзали вразумить человечество.

Походил по территории, вышел за неё, поднялся повыше. Долго искал точку, с которой пространство было бы ничем не закрыто — всё сплошь заросли деревьев и кустарников. Поднялся к огромной крымской сосне, я её издали заметил. У меня в Вятке соснам нет такого простора, чтобы совершенно, не думая о других, распространять свои ветви, занимая ими свет и воздух. Там сосны, как свечи. И называются они корабельными. А эта сосна, развалистая, разлапистая, других к себе не подпускает. А какие шишки на ней, ближе к вершине, открылись. Тут же решил обязательно сорвать одну на память.

Лазить по деревьям — дело знакомое. Покарабкался. Конечно, посадил на рубахе и на брюках пятна смолы. Ладно, не на танцы ходить. Сверху всё более открывался морской горизонт. И расширялся обзор на горы, которые казались всё выше, а море отодвигалось, распахивалось и тоже вздымалось.

А огромные шишки росли не у ствола, а на концах ветвей. Хотя ветви были толстые, появилось опасение, что они подо мной хрустнут. Но будь что будет. Решился. Выбрал одну, толстую, крепкую на взгляд, и пополз по ней. Ветвь покачивалась, но держала. Желанная шишка близилась. Я поглядывал вдаль, на корабли и лодки, и вдруг взглянул вниз — даже голову крутануло: как же я высоко! Передохнул. Стал откручивать шишку, будто отлитую из осенней бронзы. Пока откручивал, решил сегодня же послать её дочери. Смолистый запах убьёт простудные бактерии, дочка выздоровеет. Да и полобуется.

Открутил, засунул под рубаху. Полез обратно. Пятиться, потом ползти вдоль ствола вниз было труднее. Но справился.

Зашёл в номер, взял деньги и отправился вниз, на почту. По дороге набрал ещё ягодок с шиповника, мелких ярких цветочков, веточку можжевельника. На почте купил коробочку, всё в неё уложил, черкнул записку, закрыл. Когда коробочку завернули в белую бумагу, написал на ней адрес. Коробочку взвесили и присоединили к другим посылкам. Моя была самая маленькая.

И ещё, не утерпел, пошёл к телефону, по которому недавно звонил. И дозвонился, и услышал родные голоса. “Не звони, не волнуйся, не трать деньги, у нас всё хорошо”. Прошёлся по набережной. И — смешно — увидел нескольких дам с собачками. Вот как литература заразительна. Ходили же в Петрограде блоковские “незнакомки” с чёрной розой в волосах. Утверждали, что это именно они и есть.

Вернулся в Дом творчества. Время обеда. И обед прошёл. Владимир Фёдорович ни о чём не расспрашивал. Видно было: весь в работе. В номере я даже за стол не сел. Лёг спать. И спал до ужина.

А потом пошёл в кино. “Гений дзюдо” меня мало утешил. Только и запомнилось, как он учился у кошки становиться на ноги. Он берёт кошку за четыре лапы, поднимает и отпускает. Она в воздухе ловко переворачивается и приземляется на все четыре. И песня лезла в голову, жалостливая из другого фильма: “У кошки четыре ноги, позади у неё длинный хвост. Но трогать её не могли за её малый рост, малый рост”.

### Всё по расписанию

И потекли “творческие” дни. Утро. Бежим к морю. Молча. Прибегаем. На весь берег мы одни такие ненормальные. На нас даже смотреть приходят. Уже они в куртках и осенних пальто. Наставник учит:

— Разделся — не сидеть. Вспотеешь, может просквозить. В воду! Сразу! Сколько можешь, проплыви. Обрато. Растирайся до красноты. Одедись — сразу бежать. Смотри, дышишь плохо, неровно. Дыхалку тренируй. Выдыхаешь носом: раз-два-три-четыре, выдыхаешь ртом: раз-два. В армии гоняли?

— Ещё бы.

— Здоровье для писателя — первое дело. Чего ты напишешь, когда весь в соплях. Ну, побежали.

И обратно молча бежим. Конечно, медленнее: в гору.

Там завтрак, там тупое сидение за столом. То, что собирался делать, стало почему-то неинтересным. Привёз и заготовки, черновики. Перебираю — ничего не хочется доводить до ума. Одно дело делал — три дня читал и писал рецензии на привезённые чужие рукописи. Крепко забил голову текстами о рабочем классе и колхозном крестьянстве. А также о счастье прихода в Россию революции. Что делать — это мой заработок. Отсылал их бандеролью в издательство. Звонил, конечно, домой. Жена жалела, что много прозваниваю. Но я без их голосов не мог. Посылочку мою они, к моей радости, через два дня получили. Шишка крымской сосны стала украшением стола на кухне. Этот факт я лично сам рассказал “своей” сосне, к которой полубил подниматься.

Но — хоть стреляйся — не писалось. Для настройки на работу перечитал, сидя у сосны, “Капитанскую дочку”. Ничего не настраивалось, только понял своё ничтожество. Ходил по набережной. Поднимался по канатной дороге на самый верх над городом. Уходил повыше, находил место потише, дышал простором. К обеду воздух горячел, осенние, предзимние травы напоследок оставляли о себе память наркотическим запахом. Посещал и библиотеку, там всегда никого. Спокойно, светло, много окон. Пролыстывал книги с автографами авторов, написанные именно здесь. Ну, так-то, как они, может, и напишу, но зачем, если только так?

Владимир Фёдорович сидел в своём номере безвылазно. Вечером они уходили гулять. Иногда и меня приглашали. Он тогда писал повесть “Ночь после выпуска”. И ещё статью для “Правды” о бригадном подряде. Его возмущало, что бригады южных людей — армян, молдаван, гуцулов — перебивают заказы у местных мастеров на строительство. А начальство местное нанимает приезжих, оправдывая это тем, что приезжие работают быстрее. Всё так, но у местных ещё и свой дом, домашнее хозяйство, дети. А платят им меньше, чем приезжим. Почему? Те работают аккордно, по договору, у местных зарплата или трудодни. Как ни работай, больше не заплатят. А ещё в минусе то, что приезжие могут и подхалтурить, где-то понебрежничать, для скорости могут, как выражаются строители, шурупы не ввинчивать, а заколачивать, как гвозди. Сверху глядеть — красиво, а внутри — разорванная резбой древесины, удобная для загнивания. Много всего. Стены кирпичные кладут, торопятся, экономят. Кладут в один кирпич, да не в горизонтальный, в вертикальный, другой ряд, параллельно, так же, а пустоту засыпают чем угодно. Разве сохранит тепло такая стена? Это мы с ним, как люди сельские, знали досконально и обсуждали со знанием дела. Он вообще считал, что аккордная оплата труда поможет поднять колхозы.

— Почему же не свои зарабатывают? — возмущался Владимир Фёдорович.

Утренние пробежки соблюдались неукоснительно. Дождь не дождь — бежим. Однажды утром с нами побежал и Сергей. Но только один раз. На берегу сказал, что в воду не пойдёт, у него от холода сводит икроножные мышцы. Потом, когда вместе шли на завтрак, объяснил:

— Я эту группу икроножных мышц надорвал, когда занимался бегом на короткие дистанции. Я спринтер, человек рывка. А тут надо стайером быть. Я и пишу так. С низкого старта резко, и пошёл-пошёл до финишной ленточки. Я тут, тебя ещё не было, повестушку намахал за неделю. Прямо на машинке наступал. Там, у себя, я тебе рассказывал, соцзаказ через обком выбил. Лозунг “Всем классом на ферму!” Поддержка призыва партии. То есть выпускники не в институты едут поступать, а остаются в колхозе. Тут и сю-

жет. Одна девчонка у меня говорит: “А я хочу врачом быть”. А парторг: “Кто же тогда будет поднимать отстающие колхозы? — И так ей отечески: — Ты всё успеешь, ещё молодая, поработай для познания жизни два года”. А в городе идёт движение: “Всем классом на завод!” Там другие проблемы: борьба сознательной молодёжи со стилиягами, фарцовщиками.

— А ты напиши ещё: “Всем классом в литературу!”

— Ладно, не поддевай, — отмахнулся он, — я ж только для заработка. Для души я тоже делаю, давно строгаю одну вещь, но, — он постучал костяшками пальцев по перилам крыльца, — тьфу-тьфу, не сглазить, не буду разглашать.

### Катание шаров

После завтрака он всё-таки затащил меня в пустую бильярдную. И я согласился сгонять партию. Проклинал себя: нарушаю запрет учителя, но и оправдывался перед собой: всё равно же не пишется. И надо же акклиматизироваться. Сергей меня, конечно, обстукал. Хотя к концу партии мои руки и глаза, наверное, вспомнили, как, бывало, игрывал в клубе нашей части, пару-тройку “чужаков” от двух бортов в среднюю лузу вогнал. Что называется, разогрелся. И сам предложил:

— Давай ещё одну.

Уж очень хороши были здесь шары, медово-жёлтые, из слоновой кости, стукали друг о друга как-то по-особому, не звонко и не глухо, а чётко, как будто команду отдавали. Армейские были так избиты, с такими выщербинами и так самостоятельны, что сами решали, куда им двигаться после пинка кием, могли и свернуть от приказанного направления.

Во время второй партии Сергей доверил мне свою заветную мечту: переехать в Москву. Мечта эта была вполне осуществима. Надо жениться на москвичке.

— Смотри, — сказал он, — ты этих писателей всех знаешь, даже фамилий не буду называть. Они там у себя, в областях, делали первые шаги, чего-то добивались, в Союз вступали, потом с женами разводились, а в Москве женились. Из Петрозаводска, из Архангельска, из Оренбурга, Барнаула, Иркутска, Кургана, Кирова... Да ты их знаешь. И дела у них пошли. Даже не от того, что ближе к кормушке, в Москве же общение, жизнь кипит. В провинции задохнёшься, я тебе говорю. Болото. А вражда! Десять членов союза — три партии. Вон и у Чехова сёстры кричат: “В Москву, в Москву!” Я зимой путёвку в Переделкино возьму. Там близко ездить до центра на электричке. У меня и наметки есть. Пару редакторш присмотрел. Они, я по глазам чувствую, не против.

— Переспать с тобой?

— Нет, по-серьёзному. Да вот, хоть эта, которая у меня редактор. Немножко в годах, но годится.

— Ты же говорил: не хочешь, чтоб книгу баба вела.

— Так то книга. А тут жена.

— И квартира?

— И это надо. Или готовая, или кооператив.

— Но твоя-то жена как? — В этом месте я заколотил в угловую. И примеряясь к новому удару, заметил: — У меня все друзья женаты один раз. — Ударил. Промазал.

Сергей вытер тряпкой набелённые мелом пальцы.

— Понимаю. Тут же задаю ответные вопросы: а если женился по пьянке? А если дура оказалась? А если жить негде, коммуналка? Мне же писать надо! Если Бог талантом наградил, значит, надо реализовать. Так? Или не так? А если нет условий? Тёща сволочь, тесть пьёт и пилит. А она-то как пилит! До скрежета. А если загуляла? А если ребёнка не хочет?

— И это всё одна?

— Мало того: глухое непонимание, чем я занимаюсь. Ни во что не ставит. Напечатаюсь, показываю. Она: “А сколько заплатят?” Ты бы стал с такой жить?

— Так ведь и меня пилит. Если с парнями с гонорара выпью. А кого не пилит? Такая у них обязанность. Вчера перед кино случайно услышал, как этого, знаменитого, на втором, блатном этаже живёт, да знаешь, о ком говорю.

— Знаю. И что? Баба пилит? Так она у него третья. Я на второй останюсь. Только надо всё рассчитать.

— А как же любовь?

— Любовь? А что важнее: любовь или литература? Искусство поглощает целиком. Меня крепко вразумил один матёрый, ты должен знать, Фёдор Александрович, говорит: “Ты хотел быть писателем? — Да. — А зачем женился? А если женился, зачем ребёнок? Ты — писатель!” Но мне-то вначале надо в Москву переехать. Там решать. Нельзя время упускать, надо в литературу по уши, по макушку завинчиваться. Старичок! Жизнь одна!

Тут и он промазал. И воскликнул:

— Эх, хохол плачет, а жид скачет.

— Наоборот, — поправил я. — Жид плачет, хохол скачет. Знаешь ведь давнюю поговорку: где хохол прошёл, там евреям делать нечего.

Тут я благополучно и аккуратно закатил подряд три шарика и вышел в лидеры второй партии.

— Ещё? — раззадорился Сергей. — А? Третья, контрольная!

— Боюсь в разгон пойти, — отказался я. — Я человек заводной. Контрольную давай отложим. У тебя два тут срока пребывания, у меня один. Вообще давай считать, что ты победил.

Да, бильярд, с его сверкающими на зелёном бархате шарами, мог и затянуть. Да и все другие игры, в которых Сергей был мастер.

— А партийку в шахматы, а?

— Я в них знаю только, что конь ходит буквой “г”.

— Я тоже так: е-два, е-четыре.

— “Шахматы — они вождам полезней”, — отвечал я словами Маяковского.

— “Нам бильярд отрачивает глаз”, — продолжил Сергей. — Нет, шахматами не пренебрегай. Смотри, евреи далеко не дураки. Если им неохота землю пахать, стали умом зарабатывать. Чемпионы сплошь они. Карпов только резко возвысился, да ещё раньше Алёхин. Но шахматы — это комбинации, они комбинаторы. У них Остап Бендер икона.

Больше в бильярдную я не ходил. А партнёром Сергея стал старичок-драматург. Сергей звал его Яшей, известный, кстати, драматург, который кормился идущими в театрах на периферии “датскими” постановками. Датскими, потому что к датам: Новый год, Восьмое марта, Первомай, Октябрьская. Но у них с Сергеем игры были на деньги.

— Я его заставлю платить, — говорил Сергей. — Ишь, устроился: шары катает, а ему денежки каплют. Или капают? Что в лоб, что по лбу. Евреи, где можно деньги сшибить, тут они. Я в нашем областном театре делал инсценировку, ходил туда, читал им для труппы. Роли уже даже расписывали. И что? Конечно, не поставили. Они и знали, что не поставят. Это я, Ваня такой, меня легко обмануть. Нет, они чужих не кормят. Много ли русских ставят? Чуть-чуть Шукшина, да Вампилова перед смертью. Отомщу, обставлю. Яша силён. Запрещает по отчеству называть. Худой, вроде еле живой, а привык по Домам творчества ездить, везде же бильярды, наблатыкался. Начали с рубля. Его, чувствую, затянуло. Пока я в минусе. Но это я его заманиваю.

### Приглашение в сферы

Так как меня и в ресторане, и в кино видели всегда с Тендряковым, то и со мною стали здороваться. Вот интересно, властями Тендряков облакан не был, а знаменитость его превышала многих со званиями и наградами. Что ни говори, а в писательском мире существует свой гамбургский счёт.

Сказал к тому, что ближе к середине срока мы шли с завтрака. И, что раньше не бывало, Владимир Фёдорович спросил:



— Ну как, идёт дело?

— Да трудновато, — в замешательстве ответил я.

— Это очень нормально. Иначе как? Надо, милый ты мой, сто раз перемучиться, пока пойдёт. Может, что считаешь нам с Наташей? Из готового?

— Ой, нет, ничего не готово! — всерьёз испугался. И скрылся за авторитетом: — Хемингуэй писал о себе: “Я стал читать незаконченный рассказ, а ниже этого нельзя опуститься”.

— Ладно, не опускайся, — засмеялся Владимир Фёдорович.

Тут нас тормознул классик одной из южных республик. Иона Маркович. Он на завтраки не ходил, завтракал в номере. Ему персонально привозили продукты из его республики. В том числе и вино.

Раскланялись.

— Владимир Фёдорович, позвольте попросить вас о большом одолжении. — Посмотрел на меня, протянул руку. Я представился. Понятно, что он, при его известности, мог и не представляться. Он притворился, что слышал обо мне. — Владимир Фёдорович, мы на местах, у себя в республиках, конечно, отслеживаем настроения в Москве. И видим явные повороты в сторону поощрения фронтовой и деревенской темы. Астафьев, Ананьев, Кондратьев, Воробьёв, Бондарев, Бакланов, Быков, все на бэ, — улыбнулся он, — фронтовая плеяда, вы, Троепольский, Абрамов, из молодых Белов, Распутин, Лихоносов, Потанин, Личутин, Краснов, Екимов — деревенская смена фронтовиков, — это всё, так сказать, компасные стрелки генеральных линий. Очень правильно! Хватит нам этой хрущёвской показухи!

— Хватит, — весело согласился Владимир Фёдорович.

— Да! И особенно пленяет ваша смелость в изображении теневых сторон современности, неллицеприятный показ...

— Ладно, ладно! — прервал Владимир Фёдорович. — Чем могу служить?

— Видите, нас всегда вдохновляла русская литература.

— И что?

— Я ведь тоже из сельской местности. Не совсем. У меня отец партработник, так что жили в центре, но я часто бывал у бабушки и дедушки. Они держали гусей, и доверяли мне сопроводить их до речки...

— А в чём просьба? — опять перебил его Владимир Фёдорович. Я понимал, что ему не терпится сесть за стол.

— Короче говоря, я тоже решил писать в полную силу правды, ведь сколько мы пережили, надо успеть зафиксировать. Короче: послезавтра собираю близких людей, чтобы прочесть то, что пишу, и попросить совета. И очень прошу удостоить честью. И вас, — адресовался он ко мне, — тоже. Послезавтра.

— А чего не сегодня, не завтра? — спросил Владимир Фёдорович.

— Но надо же подготовиться, заказать, чтобы привезли кое-что для дорогих гостей.

Так я, благодаря учителю, был приглашён в общество небожителей. Классик Иона Маркович перечислил званных: все сплошь знаменитости, плюс два главных редактора толстых журналов, плюс герой войны, маринист. Плюс два критика, как без них.

### Спецкурс критика

Одного критика я вскоре узнал лично. До этого знал заочно. Его все знали: со страниц не слезал. Писал, как о нём говорили, широкими мазками. Оперировал всякими амбивалентностями. И был до чрезвычайности смелым, ибо требовал от писателей смелости. Прямо Белинский нового времени. Он сам, оказывается, что-то у меня прочёл, знал, что предисловие к моей первой книге написал Владимир Фёдорович, всё знал.

— Ты молодец, — похвалил он меня. — Молоток. Держись за Тендряка. Локомотив. Вытянет. На борьбе с религией пашет.

Конечно, он был уверен, что я взялся редактировать книгу Владимира

Фёдоровича только для того, чтоб сорвать с него предисловие. Увы, в этом мире не верят в бескорыстие.

Критика звали Вениамин, Веня. Своё критическое кредо он изложил мне, поучая, как надо жить в мире литературы. Вообще, интересно: меня всегда все поучали. Может, я такое впечатление производил, недотёпистое. И в Ялте ведь избегал разговоров, знакомств, а он меня отловил. Сам виноват: неосторожно пришёл в кино задолго до начала. Он взял меня под руку и, водя по дорожкам среди цветников, напористо вещал:

— Слушай сюда. У нас семинар Золотусский вёл, учил: чтобы вас заметили, надо быть смелым. А как? А так: не бояться ни званий, ни регалий того, о ком надо резать правду-матку. Чем знаменитей объект критики, тем заметней критик. Понял, да?

— А ты резал? Правду-матку. Или ещё не дорезал? — отшутился я.

— Тут не хиханьки-хаханьки. Тут борьба. Тут всякие приёмы годятся.

— То есть вольная борьба?

— Ещё какая.

— Какая?

— Вот у меня статья написана о старшем поколении, резкая, честная. Сколько можно этим старпёрам в литературе командовать: все должности захватили, премии делят, карманных критиков-лизоблюдов при себе держат, прикормили. Нет, так нельзя! Я режу: до каких пор? Вот в этом заезде два главных редактора, пузом вперёд. Я и того, и другого в статье уел. Им не прочихаться. По блату у них всё. Свой круг авторов, свои акценты. А как прозаики они кто? Какого размера? Ну да, что-то было. Было — прошло. Пора место знать! О, эта статья наделает шуму. Я её ещё зимой в Малеевке начал, потом летом в Коктебеле продолжил. Сейчас доколотил. Но вот тут главное. Слушай. Если бы тут третий редактор был, я бы именно ему статью отдал. А тут они, оба, на кого я нападаю. Как поступить? Что я делаю? Учись. Вырезаю из статьи всю критику на того редактора, кому отдаю читать. Ему нравится, ещё бы, его не трогаю. Он говорит мне: “Ты молодец, правильно их отхлестал. Напечатаю. Но этот год у меня расписан, начало того тоже занято. Давай поставлю на март-апрель”. На март-апрель, как тебе нравится? Ну?

— И что?

— Как, и что? Начало ноября сейчас. Полгода ждать.

— И что? Читать же не разучатся.

— Нет, юное дарование, ты ещё далёк от понимания процессов. Так вот, я благодарю его, а сам в рукопись обратно всю критику на него возвращаю, а вырезаю критику на другого редактора. И тоже отдаю читать. Читает. И тоже — доволен! Говорит: Веня, срочно в номер! Идёт в двенадцатом. Бомба!

— А как ты с первым-то будешь потом встречаться?

— Да никак! Начнёт меня поносить, я тут же реплику: господа, я в подковёрные игры не играю, живу с открытым забралом. Нет, старичок, пора нам валить этот дурдом в Союзе. Ты хорошо начал, не останавливайся, набирай очки. Я тебя по “Сельской молодёжи” заметил, Пощов молодец, тянет парней, заметил тебя, вы там с Прохановым начинали.

— Проханов раньше.

— Так он и постарше. Он будь здоров, парень моторный. О конфликте на Даманском крепко написал. Уже ему и страны мало, уже из Кампучии репортажи. Спецслужбы на него поставили. И ты смотри, будь зорче. Литература — это такое дело: слопают и костей не выплюнут. Это же шакалы.

— Кто?

— Писатели! Ты чего, под дурака косишь?

— Ну, нет, тут я не согласен.

— Да, пожалуйста, *блажен, кто верует*, веруй. Схлопочешь пару измен от заклятых друзей, поумнеешь. Литература, брат ты мой, круглый стол с острым углом, не я первый сказал. Садятся за стол и локти пошире раздвигают, чтоб никто рядом не сел. Держись за меня, я сколачиваю поколение на смену мастодонтам. Готовлю прорыв. Уже и семинар веду в Литинституте.

Ко мне молодые рвутся. Чувствуют, где направление главного удара. Ты давай, тоже начинай посещать. Я и Селезнёву помог из Краснодара переехать. Подтягиваю силы. Надо в стенку сбиваться. У них, смотри, всегда бригадный подряд, всё братья: братья Стругацкие, ну, эти ещё ничего, братья Вайнеры. А в критике с нашей стороны вообще завал. Не всё же нам на Лобанова, Лакшина, Ланщикова надеяться. Надо крепче врага теснить. Примерно как “Новый мир” и “Октябрь” сцеплялись. Кочетов молодец, но его количеством задавили.

К нам подошёл Сергей. Конечно, они-то были давно знакомы. Тем более критик Веня как раз был из тех, кто приехал в Москву из провинции, то есть мог Сергею пригодиться.

— Ареопаг в сборе, — заметил Веня.

Пошли. Но в вестибюле я отстал от ареопага и вернулся на улицу. Ходил по периметру Дома, потом зашёл в номер, собрал исписанные листки, поднялся к своей сосне и сидел до темноты.

Так уже бывало. Меня угнетало то, что живу тут в такой благодати и не работаю. Просто ужасно — никакой продукции. Напишу строчку — зачеркну. Ещё напишу — ещё зачеркну. Доехал страничку — скомкал. Но не выбросил. Копил похеренное для прогулки к сосне. Там, на чистом местечке, сжигал свои черновики. Подкладывал сухих веточек, глядел на огонь.

### И Сашок приходил

Ежедневно виделся и с Сашком. Он вообще был деликатен и, если заставал меня за столом, то тут же поворачивал. Если же я лежал на диване, а лежал я часто, то присаживался и развлекал. Все его истории лежали в теновой стороне жизни обитателей Дома творчества.

— Соню знаешь? Старшая официантка.

— Нет.

— Ну, увидишь. Из отпуска скоро придёт. Она и сейчас ещё очень ничего. А раньше вообще. Что ты! Королева красоты, цветок невинности! Идёшь вечером в город, её уже угощают в лучшем ресторане. Я ей как-то говорю: “Чего ж ты у себя-то не ужинаешь?” Говорит: “Я и с тобой могу поужинать. В состоянии? Веди”. Смешно. Веди. На мои трудовые? Хотя и подкидывают, конечно, но ведь семья. А если чего другое надо, пожалуйста. Меня в любую постель затащат.

— В любую? Врёшь.

— Да, вру, — усмехнулся он. Налил и выпил. — И про Соню соврал, фантазия. Это я от обиды ляпнул — отринула. А этим женам чего? Мужья горбатятся, лысеют, а им что? Какие на веранде сидят, вяжут, какие языками плетут, какие на лежаках у моря. Я по вызову прихожу, сразу понимаю, в чём проблема. Тут не кран, тут сильно другое.

— Не надо, — прерывал я. — Сашок, сантехника — это хорошо, но заведи хобби — перо и бумагу: ты столько знаешь неизвестного *о тайнах Мадридского двора*, да ещё и присочинить можешь. Такие записки драгоценны для потомков. И спрос на них растёт.

— Нет, — отвечал Сашок, — я в этом не волоку. Да и зачем? Я мужик, я всё могу. Я до города в селе был, понимаю и во саду, и во поле, за скотиной ходил. И в городе не пропал. А на этих гляжу: здоровенные мужичины, на них пахать надо, а они сидят целый день, как кассирши: тьк-тьк-тьк, чирк-чирк. Мне даже и книги когда дарят, я гляну из любопытства: всё трынделки, одна брехня. А потом им же надо что-то сказать. “Ну как, Сашок, прочитал? — Да, а как же. Всё очень подобно, жизненно. К цели ведёт”. Рады, ещё и на бутылку дают.

Сашок уже не уговаривал выпить, но сам выпивал. Для этого в моём номере держал стакан.

— Тяпну грамульку. Для кручины нет причины. — Опрокидывал. Всегда при этом прибавлял: — Эх, горе нам, горе нам, горе нашим матерям. — Крякал, заедал принесённым с завтрака сырком, вставал: — Ну, давай трудись. Соответствуй.

Раза два он перебрал и даже попел для меня. Две песни. Одна: “Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка, полная червонцев и рублей. Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что в книжке нету прибылей”. Другая: “Ну, что тебе сказать про Сахалин, на острове нормальная погода. А я тоскую по тебе и пью всегда один, и пью я от заката до восхода”.

Видимо, и на него действовала творческая атмосфера, здесь царящая. Он однажды даже рассказал, как он выразился, “историю биографии”. Пришёл выпивший:

— Сделай запись, а то забудешь.

— Чего запись?

— Историю моей биографии последнего дурака.

— Пишу. — Я в самом деле взял бумагу и вооружился авторучкой.

— Пиши: я мог стать на уровень министра, а не стал. Спросишь, почему?

— Нет, не спрашиваю.

— Правильно: любопытство хуже свинства. Потому что вижу: в начальники рвутся карьеристы и подлецы. Это понятно?

— Как не понять, это публицистика.

— ак вот, уточню: я во всём был здоров. Хоть физика, хоть химия — нету равных. Что в длину прыгал, что в высоту. Математичка мне всерьёз говорила: “Сашуля, твои данные говорят о многом”. Другие учителя соответственно. Прочили светлое будущее. И вот я здесь сижу со стаканом и разводным ключом... Можно закурить?

— Тут мы задохнёмся, пойдём на улицу. Бумагу с собой беру.

— Да можно уже и не записывать: летай иль ползай, конец известен.

У корпуса было пустынно. Сели на лавочку, на которой любила отдыхать Наталия Григорьевна с подругами. Ещё шутила: “Главное дело писательской жены — помогать мужу. То есть уходить с его глаз. И к работе не ревновать”.

— В общем, — продолжал Сашок, — дальше неинтересно. У меня мама умерла рано, я только школу заканчивал. Отец её очень любил, ну и, понятное дело, заболел-заболел — и за ней. А я уже в институте, а я уже и там на первых ролях. А у меня квартира. И, конечно, весь курс заваливается ко мне. Дальше, по тексту, пьянки-гулянки. Однажды просыпаюсь с девушкой, которая беременна якобы от меня. О чём мне объявлено в присутствии тётки, которая пришла в мою квартиру, как ты сам понимаешь, жить навсегда. В которой и сейчас живёт.

— А ты с ними живёшь?

— С ними только другие такие же змеи уживутся. Да и то передерутся.

— То есть ты разошёлся?

— Через тюрьму.

— Как?

— Как залетают, так и я. Не вынес я такой жизни и руку вознёс. Уже были зарегистрированы. Я же порядочный человек, у меня отец — фронтовик. Отметелил их, как полагается — и на нары. Там и сантехнику освоил, и слесарное дело. Понимал: чем-то же надо будет кормиться. Но поклялся: чтобы ни с одной бабой больше недели не застревать. Ну, месяца. — Он аккуратно затушил окурок о край красивой урны. — Так не так, перетакивать поздно. Она постаралась о разводе. С тюремщиками легко разводят. Ещё легче выписывают с площади. Спасибо скажи, говорит, тебе комнату в коммуналке выменяла. А ещё ударишь, и оттуда выгоню. Так я о чём?

— О верности жене.

— Да! Пошёл в разгул, когда паспорт без штампа о браке получил. А если бы с женой в любви, так разве бы на сторону хоть раз поглядел?

### Ниже уровня моря

И ещё на одно мероприятие для избранных я попал благодаря Тендрякову — на экскурсию в знаменитые винные подвалы “Магарач”. В переводе “стоянка осла”. Знамениты они ещё и тем, что фашисты, долго жировав-

шие в Крыму, знали, конечно, о винных подвалах, искали их, но — великая честь ялтинцам — никто не выдал, где они.

Из-за этой экскурсии приглашение к Ионе Марковичу на слушание авторского чтения новонаписанной повести было перенесено.

В делегации с русской стороны состояли Лазарь Карелин, Юрий Нагибин (они потом написали об этой экскурсии), кого-то и не помню, потом мы с Владимиром Фёдоровичем, от братских республик — знаменитости из Армении, Грузии, Молдавии, Украины, прибалты присутствовали, были и из Средней Азии, — сплошь отборные письменники.

Привезли на комфортабельном автобусе с музыкой и кондиционером. Перед входом в большие стальные двери всех облачили в белые халаты. Сопровождал стеснительный, но очень знающий молодой учёный, кандидат винодельческих наук (да, и такие есть). Он подошёл к Владимиру Фёдоровичу с его книгой, стеснительно попросил об автографе, прибавив, что именно Владимир Фёдорович — его любимый писатель. Стал вести экскурсию. Тендряков весело мне подмигнул: “Без бутылки не уйдём”. Спустились в подвалы по деревянным, но не скрипучим лестницам. “Дубовые, — пояснил сопровождающий, — как и бочки для многолетней выдержки. — Будем находиться ниже уровня моря”.

Экскурсию заинтересованно воспринимали армяне, грузины, молдаване, украинцы. Но для меня, а я видел, что и для наставника тоже, это была пытка. Вот представьте: подходим к очередной пробе очередного сорта вина, так сказать, перебродившего сока солнечной виноградной лозы, постепенно дошедшего до названия нового сорта вина или его разновидности, учёный рассказывает, что это есть такое. Мелькание слов: солнечный склон южный, а лучше бывает и восточный, благоприятная погода, затяжная весна, дождливое лето, раннее (позднее) созревание, букет, выдержка, участие в конкурсах, получение тогда-то там-то вот этой медали (рисунок). Потом тебе дают десять капель этого вина. Надо не сразу выпить, а подержать его во рту, языком повозить в нём, ощутить и нёбом, и гортанью. Потом проглотить, или — вариант — выплюнуть. Рот прополоскать минеральной водой, снова выплюнуть в ручеёк, текущий вдоль демонстрационного стола. Потом обсуждение, потом дальше.

Нет, это была пытка. Изысканная, комфортная, но пытка. Я уже подумывал, как бы смыться да взять на набережной кружку шива, да посидеть, глядя на волнистое море. Но куда там: протокол, программа. Оказанная честь. Надо ценить. Но Владимир Фёдорович чувствовал то же самое, что и я. И на одном из переходов из зала в зал сказал экскурсоводу:

— Слушай, ты нам с Володиёй дай по бутылке, и веди их дальше.

И бутылка, не одна, а две каждому в плотных бумажных пакетах, были нам подарены его помощниками. И мы, хотя явно не англичане, но ушли по-английски. Так сказать, десантировались.

### Марганцовка

После подвального холода отогревались на скамье прибрежного бульвара.

— Ну что, — произнёс учитель, — наши организмы перенесли такое издевательство, надо их утешить. Вон автоматы газировочные. Там стаканы. Нет, не дёргайся, тебя засекут, а на меня не подумают. — Он встал, пошёл к автоматам и вскоре вернулся с чисто вымытым стаканом.

С тех пор я не видел такого вина — “Чёрный доктор”. А тогда отличился перед учителем. Пальцем проткнул пробку. Владимир Фёдорович изумился:

— Он у тебя металлический?

— В кузнице работал. Должен же я хоть что-то уметь.

И мы не спеша, ничем специально не заедая, чтобы не портить впечатление от такого вина, приняли в себя для здоровья тела и радости душевной напиток этого крымского доктора. Никто нам не мешал. Только подошла девочка лет четырёх и задала интересный вопрос:

— Дяденьки, а почему вы марганцовку пьёте?

Не успели придумать ответ, как её отозвала то ли мама, то ли нянька.

Как же было отрадно глядеть в синюю даль на корабли, на облака над ними. И спешить никуда не хотелось.

— Скоро добыю, — сказал Владимир Фёдорович. Он говорил о повести. — Дам тебе прочитать. Если получилось, можно в книгу включить. Её у меня “Новый мир” берёт. Или “Дружба народов”. Сережка должен скоро приехать Баруздин, редактор. Всё просит. Может, и ему. У него журнал хорошо идёт по республикам. А “Новый мир” и за границей востребован. Твардовский, у нас дачи рядом, каждый раз напоминает. Ну что, тёзка вятский, беря в рассуждение малую градусность вина, но прекрасный его вкус, созданный из винограда, выросшего на кто его знает каком склоне и непонятно, в какое лето, и не нам знать, когда там солнце соизволило участвовать в созревании лозы или когда дожди сие дело тормозили, о, как изысканна моя преамбула к самому простому действию: пора понять, что вторая бутылка по нам тоже соскучилась. Как считаешь? Надо и ей башку свернуть. А ещё одну возьмёшь себе, а ещё одну с Наташей употребим.

— Нет, нет, — торопливо сказал я, — обе вам.

— Хорошо, — согласился Владимир Фёдорович, — другой отказывался бы гораздо дольше. — Он засмеялся вдруг: — Эта девочка-то как, а? Марганцовка. Смешно. И вставить куда-то можно. Вставь, дарю. Взрослые дяди спёрли стакан, пьют марганцовку. Мы бы и сами могли купить, да нет такого вина в продаже, вот канальство. Всё у нас не для нас! Ансамбль “Берёзка” везде, только не в России, басы у нас какие! В Болгарии Борис Христов говорил о шалыпинской школе. Максим Дормидонтович Михайлов! А Ведерников-то тоже наш, вятский, как и Шалыпин. Гордишься?

— Ещё бы! — воскликнул я.

— Наливай! Посмотрим, чем на громкой читке будет угощать южный гений. Меня он ещё после тебя потом душил разговорами: учимся, говорит, у русских говорить правду. Знает наших лучше нас с тобой. Всё читает. Например, читал ты Гранина, Чивилихина?

— Да.

— Можно не читать. Это большеформатные очерки. Обслуживание тезисов, продиктованных верхами.

— У Чивилихина “Кедроград” и о Байкале, это же нужно, — защитил я. — Он именно Распутина поддержал.

— Это да. Распутин на смену идёт. От Белова я многого жду. Его Александр Яшин вырастил. Но ведь у самого Яшина “Вологодская свадьба” тоже не литература. Это опять же очерк. Нет широты. Мальцев, Троепольский. Как и Феди Абрамова “Письмо землякам”. Зауженные местные проблемы. Астафьев, — Владимир Фёдорович сделал паузу, — совсем не успокоенный. А вот я не могу писать о войне. И не хочу. Хотя и заработал право. — Он показал кисть руки, искалеченную осколком. — Юра Бондарев пишет, молодец. Василь Быков, Сеня Шуртаков. А Володя Солоухин не воевал, в Кремлёвском полку служил. Но свою нишу занял. Грибы, цветы. Также надо. Только бы лапти не воспевал. “Чёрные доски” эти.

— Но он же их сохраняет.

— Зачем? А что, без них и Лувра нет, Русского музея, Дрезденской галереи?

— Мне очень его “Владимирские просёлки” понравились, — сказал я. — Ещё в десятом классе был, в “Роман-газете” читал.

— Так ведь тоже только очерк. Путевые записки. Интересно, конечно. А потом что? Эти “Чёрные доски” собирал, в религию ударился. Я ему: “Володя, это отжившее: вперёд идём, а не назад”. Он упёрся: “Нет, Володя, — окает всю жизнь, — надо долг отдать”. Прямо как “отец Онуфрий, обходя оврагом общественный огород, около огромного огурца обнаружил оголённую Ольгу”. Ты как к церкви?

— Я ещё в школе думал: если Бога нет, так как бороться с тем, чего нет?

— А ты Его спроси, Бога, что ж Он никак нам не помогает? Такой бардак развели.

— Мы же не просим.

— Надо же, — развёл руки Владимир Фёдорович, — ещё и просить. Зачем Он тогда Всеведущий и Всемогущий? А? Нечего сказать?

Владимир Фёдорович встал, потянулся.

— Чего-то я разленился. Статью никак не допишу. О бригадном подряде, аккордной оплате. Да, надо тебе Тейяра де Шардена прочесть: сознание встряхивает. Эволюционер. Эво! Не революция — эволюция! Католик, но они прогрессивней наших, они идут на союз с наукой. А наши консерваторы. Упёрлись в обряды, язык у них как был, так и остался. В космос летаем, а там всё: “не лепо ли ны бяшеть, братие, начати старыми словесы...”

— “Ярославна плачет в Путивле на городской стене: ветр-ветрило, прилепей моего ладу”, — то ли поддержал я учителя, то ли с ним не согласился.

— Поутру плачет, — показал он мне моё плохое знание “Слова о полку Игореве”, — не просто так написано. Поутру. С утра плачет. Умели писать.

По дороге к Дому я всё-таки осмелился сказать:

— Владимир Фёдорович, до того мне не хочется думать, что люди от обезьяны произошли. Мне понравилось, я слышал шутку: не люди от обезьяны произошли, а обезьяны — это бывшие люди, которые оскотинились.

— Очень похоже, — засмеялся Владимир Фёдорович. — Жизнь произошла от первичного бульона Вселенной, от живой клетки.

— А живая клетка откуда?

— Всегда была. Читай у Вернадского о единстве живой клетки в космосе.

— Так был или нет день Творения?

— Ну да, был — взрыв во Вселенной, — хладнокровно ответил Владимир Фёдорович. — До сих пор единое ядро разлетается во все стороны в виде галактик, они как осколки.

Наставник мой не знал сомнений. И мой вопрос: “А взрыв-то кто устроил?” — оказался произнесённым. Ещё он добавил:

— Ты в эту сторону поповскую не ходи. Ничего у них не получилось с религией, надо не молиться, а головой думать.

### Старшая официантка

На обеденном столе обычно лежали листочки, на которых мы помечали галочкой название тех блюд, которые желали бы употребить в следующий день. А тут их не оказалось. Я вызвался сходить за ними. Подошёл к дежурной, которая, склонив голову в белом платке, что-то писала.

— Простите, можно вас попросить, — начал я. Она подняла голову. Я сразу понял, что это она, Соня, которая вернулась из отпуска. Мы встретились взглядами. Что-то неуловимое, будто она меня вспомнила, мелькнуло в её глазах. Да, хороша была эта Соня: темно-русая, глаза большие, карие, вся в северную породу русских красавиц.

— Мне листочки, три, для заказов.

Она взяла листочки из папки на столе, легко встала, такая стройная, и протянула их мне. А зачем было вставать? Как она походила на далёкую, ещё доармейскую девушку, с которой мы были дружны, но которая меня из армии не дождалась. И хотя на Соне был платок, закрывавший волосы, я был уверен, что у неё прямой пробор и обязательно косы. Про косы чуть не спросил. Даже качнулся вперёд, но спохватился и виновато улыбнулся. И она улыбнулась:

— Что-то ещё нужно?

— Нет, нет. Я знаю, вы Соня. А как по отчеству?

— Не надо. Надеюсь, ещё до отчества не дожила. Или уже пора?

— Ну что вы!

Вернулся за стол. Наталья Григорьевна что-то заметила.

— Ах, хороша, да? Понравилась? Вижу, вижу, смутились.

— Какой там — смутился? Что за блажь? — недовольно спросил Владимир Фёдорович. — Он работать приехал. Встал в борозду и паши. Смущаться будешь, когда плохо напишешь.

— Тут столько классиков, что... — я махнул рукой. Сел и стал смотреть предлагаемые кушанья на завтра. И блеснул знанием, заодно уводя от начатой темы. — Слово “меню” адмирал Шишков терпеть не мог и предлагал назвать: разблюдаж. Та-ак, завтрак, обед, полдник. Ставим галочки. С такой едой можно и не писать.

В этот день вечером был фильм “Генералы песчаных карьеров” или, в другом переводе, “Капитаны песка”. Я почему-то знал, что Соня придёт.

Пришла. Сидела впереди. Да, тёмно-русая, да, с прямым пробором. И коса, широкая короткая. И фильм очень неплохой, и песня пронзительная. Хотя и немного безотрадная: “Судьба решила всё давно за нас”.

Чтобы подойти к Соне, мысли не мелькало. Нет, вру, мелькала. Но скрепился: какие мне провожання, работать приехал. Заставил себя уйти до окончания сеанса. Да и брюки в смоле, и ботинки не чищены. И сам не брит.

А ночью меня пронзила ожившая боль разлуки с той, моей девушкой Валей, с которой дружил до армии. На которую похожа Соня. И мысль овладела: вот о чём надо написать. Уходит парень в армию, а мы уходили, самое малое, на три года, уходит, провожает его любимая, обещают они ждать друг друга, быть верными. Да это и обещать не надо, это ясно. Он уходит в новую жизнь, а она-то остаётся в прежней. У него всё переворачивается: это же армия! Взросление, возмужание, новые привычки, стремления, друзья. Он становится другим за три года, а она не изменилась. Но любит по-прежнему. Ждала. А он уже другой. Тут трагедия. И он любит, он был верен ей, другой у него нет. Но уже что-то изменилось. Тут мучение. Она сердцем понимает, что у него уже нет той силы любви к ней. Что он, страшно сказать, стал чужой. А он говорит о свадьбе, он честный человек. И не врёт, и готов жениться. Но она, жалея его, отказывает ему. Может даже солгать во спасение, что полюбила другого.

Вот маленькая повесть. Вот её и пиши.

Во все следующие встречи с Соней, а они трижды в день при посещении ресторана Дома творчества были неизбежны, просто раскланивался. Она была, как всегда, приветлива. Чтобы не встречаться с нею взглядом, сел спиной к её столу.

— Не поможет, — засмеялась всё понимающая Наталия Григорьевна.

Почему-то не мог о ней не думать. Но сказал себе так: это от того, что она своей похожестью на Валю моей юности вызвала к жизни замысел повести. Спасибо ей за это, и до свиданья.

### Кукарачка

Вскоре она отчудила: привела перед обедом в корпус дочку свою, да ещё и ко мне, в мой карцер постучались. Мороженое принесли. Была в белой кофе-распашонке, вышитой красными узорами. Голова не покрыта, волосы распущены по плечам. Девочка лет четырёх, в платье-пелеринке, белый бант на голове, прямо ангел, сказала:

— Я Оля, а вы?

— А я папа девочки Катечки. Такой, как ты. Такая же принцесса, модница.

— Модница-сковородница ещё та, — подтвердила Соня и спросила: — Вы же смотрели кино “Генералы песчаных карьеров”? Да? Я в конце вся обрыдалась. Прямо настроение подыспортилось.

— Да, грустный финал.

Сели. Неловко помолчали. Оля потихоньку деревянной щепочкой доставала мороженое из вафельного стаканчика. Соня и я к мороженому не притронулись.

— Я хотела спросить, — заговорила Соня, — вот о чём. Тут, кто бы ни приехал, все всё всегда: дама с собачкой, дама с собачкой. А я прочла, и что? И это любовь? Она же от мужа уехала, а он от жены. И загуляли тут. Это как?



— Это не ко мне вопрос, к Чехову.

— Его уже за хвост не поймать. А вы как считаете?

— В общем-то, я тоже от жены уехал. Хотя бы отдохнёт от меня.

— А вот скажите, — спросила Соня, — почему это жёны писателей все только и жалуются, что им тяжело жить. А самим делать нечего.

— Вообще, конечно, тяжело.

— Почему?

— Женщинам надо, чтоб им постоянно уделяли внимание, а его работа забирает целиком и полностью. Он же непрерывно в работе. Идёт с женой рядом, а сам думает над тем, о чём в это время пишет. Вот коротко: рассказ. Не мой. О писателе. Он возвращается домой, видит в прихожей чемодан, думает, как это интересно изменяет пространство прихожей. Жена ему говорит: я от тебя ухожу, жить с тобой невозможно. — Почему, зачем? — Невозможно. Ты эгоист, ты занят только работой, и так далее. Я всегда одна, ты мне всю душу вымотал, в общем, все женские слова.

— Да, это мы можем, — засмеялась Соня.

— Он, этот писатель, слушает и думает: да, да, она права, ей невозможно жить со мной. И был бы, думает он, хороший такой рассказ, как жена писателя от него уходит. Хорошая, красивая, но несчастная. Он весь в своей работе, он ей не принадлежит. Да, надо запомнить, как от волнения её лицо хорошеет, какие неожиданные, ранее от неё не слышанные, слова вспыхивают в её монологах. Воспоминания о юности их любви начинают его терзать, какие-то обрывки фраз из задуманного рассказа мелькают в голове. Он думает: я же всё не запомню, надо записать. Хлопает по карманам — нет записной книжки. Жене: — Ты не видела мою записную книжку? — Какая тебе записная книжка? Я от тебя ухожу. — Да уходи, уходи, только записную книжку вначале найди. Она садится на чемодан и понимает, что с ним бесполезно говорить: другим он не будет.

— То есть не уйдёт? Не ушла? — спросила Соня заинтересованно.

— Будем надеяться. Она же его не переделает. Ей самой надо подстраиваться. Но это всё-таки о, надеюсь, верной жене. Каких, кстати говоря, немало в жизни. А в литературе все они изменщицы, чем и интересны. В красивом слове “адольтер”. Вот эта дама с собачкой, а рангом повыше — мадам Бовари, Анна Каренина. Эти бабёнки мужьям рога наставили и в героини вышли. А Кармен? Из-за неё судьбы ломаются — ей хоть бы что. “Меня не любишь, ну, так что же? Так берегись любви моей!” Добилась своего и отшвырнула. Или этот деспотизм: “Если я тебя таким придумала, стань таким, как я хочу!”

— Вот разошлись, вот разошлись, — весело одобрила Соня мой речитатив и арию. — Не все же такие. Что же тогда, не читать о них?

— Читать, да не подражать. А писатели — самые трудные для женщин мужья. Может, Чехов и не женился оттого, что понимал: мужа из него не получится. Не выходите за писателя, Соня.

— А за кого? Тут только они.

— Собачку заведите и гуляйте с ней по набережной.

— Мне только ещё собачки не хватает. Скажете тоже. Оля, не дёргай за кофту, сейчас пойдём. — Кажется, она приняла всерьёз мою шутку. — Я-то никого не обманываю: я разведёнка. — Ой, у вас даже моря из окна не видно.

— Да, не видно. Приходится с утра к нему бегать.

— А я знаю. Я даже утром вас издалека видела.

— Надо же, — только это и смог сказать. Чтобы скрыть смущение, обратился к Оле: — А это не ты нас о марганцовке спрашивала? На бульваре у моря?

— О какой марганцовке? — спросила Соня.

Рассказал о походе в винные подвалы. О вине “Чёрный доктор”, о девочке, спросившей нас, не марганцовку ли мы пьём.

— Счастливые вы, в Магарач простым смертным доступа нет. А вино это я могу достать. У меня связи — ого-го. Принести?

— Что вы! Я же работать приехал.

— Оля, пойдём, — тут же встала она, — пойдём, не будем дяде мешать.  
— А как же песенка? — спросила Оля. — Ты говорила: дяде надо спеть.

— Вот предательница, — засмеялась Соня. — Петь не обязательно.

— Даже очень обязательно, — попросил я. И повинился: — Видите, какой я плохой. Даже и угостить вас нечем.

— Ну что вы, сейчас обед. А песня, кстати, про собачку. Оля!

Оля встала и очень умильно, помогая жестами ручек, спела песенку, которая была так проста, что я её запомнил с первого раза:

*В одной маленькой избушке жили-были две старушки.*

*И была у них собачка по прозванью Кукарачка.*

*Раз поехали на дачку, захватили Кукарачку.*

*А в дороге неудачка: заболела Кукарачка.*

*Повезли её в больничку, стали делать оперичку.*

*С оперичкой неудачка — сдохла наша Кукарачка.*

*В одной маленькой избушке плачут, плачут две старушки:*

*Ведь была у них собачка по прозванью Кукарачка.*

— Душераздирающая история, — сказал я. — Целая повесть. Всё есть: и события, и герои — старушки, собачка, доктор, шофёр, кто-то же их вёз на дачу?

— Они в автобусе ехали, — поправила Оля.

— Ещё интересней. Завязка — поехали на дачку, кульминация — болезнь, оперичка, и горький финал. Плачу и рыдаю. Гости приходят, тоже рыдают?

— У нас гостей нет, — заметила Соня.

— Мы её в садике поём, — сказала Оля. — Вам понравилось?

— Замечательно! Стыдно, подарить даже нечего. Я песню запомнил, я её дочке по телефону продиктую.

— Вы правда запомнили?

— Ещё бы. Такая история! “В одной маленькой избушке...” И так далее.

— А как вы память тренируете? — спросила Оля.

— Сама тренируется. Вот твоя песенка: такой день, красивая девочка...

— И мама, — добавила Оля. Она вновь взялась за мороженое.

— Ещё бы! Ну вот, и как не запомнить?

Я как-то ищуще озираю своё убогое помещение.

— Ничего ей дарить не надо, зачем, что вы, — заметила Соня. — Вы так слушали, вот подарок. — И после паузы: — А вы давно начали писать?

— С детства. Стихи писал. Потом хватило ума понять, что уровень невысок. Сценарии строчил, пьесы. Но это для денег: на кооператив зарабатывал. Да всё как у всех, обычно. Но пришёл к прозе. А проза — самое трудное, кому хочешь хребет сломает.

— Надо же. А сейчас что-нибудь пишете?

— Пытаюсь. О юношеской любви.

— Как интересно.

— Больше грустно. Он в армию ушёл, а она...

— Не дождалась. Точно?

— Сложнее: он стал другим. Хотя никем не увлекался. Да и где там в армии.

— Ой, и что, что в армии. А вы служили?

— Конечно, как без этого?

— И что, там не было вариантов? Да мужики, где хочешь, найдут. Это мы, дуры, верим да ждём.

— Это у меня из своей жизни такой случай. Знаете, она похожа на вас. И задумка возникла благодаря вам, когда вас увидел.

— Надо же, — засмеялась она. — Вот куда попала. Покажете потом?

— Тут до показа семь вёрст до небес. Ещё начать да кончить.

Оля выскребла ложечкой вафельный стаканчик, отложила ложечку на край стола и стала, обхватив ладонками стаканчик, как белочка орех, его по кругу обкусывать. Заметила непорядок:

— Мама, у него телевизора нет и ванной нет.

— Ничего, Олечка, живу.

— А где вы умываетесь?

— К морю бегаю.

— Каждый раз?

— Извините за беспокойство. Мы пойдём, — сказала Соня. — Уже у порога, поправляя дочке белый бант, повернулась: — А вы до того похожи на него, это мой парень был, прямо один в один.

— Отец Оли?

— Нет. Хорошо бы!

— Оля! — воскликнул я. — Умоляю, возьми мороженое! Я его не люблю.

— Ну, раз не любите. — Соня положила стаканчики обратно в пакет.

— А у меня есть ещё одна бабушка, — сказала на прощание Оля. — Только она далеко. Мамина мама. Только я её не видела.

— Обязательно увидишь, — пообещал я.

Ушли. Не удерживал. А чем бы я мог их занять, угостить? Да и сам такой небритый весь. На брюках след от древесной смолы. Рубаха какая-то рабоче-крестьянская. Ведь есть же запасная. Ну, что теперь?

Подошёл к зеркалу. И куда я рядом с ней, такой? И внезапно решил — не бриться до конца срока. И вообще пора носить бороду. Василий Белов с бородой, а моя Вятка с его Вологдой соседи. И дедушки у меня были бородатые ямщики и плотогоны. Эх, не отпадёт голова — прирастёт борода. Да не отпадёт, сам не теряй.

Но наутро, когда мы прибежали к морю, а оно день ото дня становилось всё холоднее, зрителей приходило всё меньше, наши заплывы становились всё короче, так вот, мне казалось, что Соня где-то близко. И подсматривает за нами. В бинокль. А с ней собачка. Кукарачка. Стих про эту Кукарачку я дочке по телефону пересказал. В тот же день, как они приходили.

Да, Соня. Была в ней женственность, вот что. Это не объяснить, и это есть далеко не во всех женщинах. Женственности не достичь ничем: ни красотой, ни фигурой, ни спортом, ни диетой, это только состояние души. А женственная душа у женщин бывает только у целомудренных. Сказал же Сашок, что Соня ему его мать напомнила. А мне далёкую доармейскую Валю. Ведь не похожестью лица, а именно этой женственностью.

### Ну, хоть стреляйся

С работой моей опять заклинило, какой-то ступор случился. Не успел сесть за повесть, хотя уже согласен был бы и на рассказ, лишь бы не простаивать, оправдать эту с небес упавшую возможность для работы, как тут же настигла мысль: а зачем писать, а кому это нужно? Даже и так было: бегу утром к морю вниз, бегу обратно вверх, в гору, непрестанно думаю о работе. Как учитель наставлял. Взглядываю на него: думает. Даже вроде того, что губами шевелит, что-то проговаривает. И думаю о своей работе, и мне вроде всё ясно: сяду за стол и — поехали. Но не получается такой радости: записанная, вроде продуманная мысль не хочет жить на бумаге. Сохнет, как сорванный листок.

Поневеле бросишь авторучку. А уже видишь рассказ напечатанным, читающим кем-то, видишь этого кого-то, как он зеваает, отодвигает книгу и включает телевизор. А если и не отодвигает, если и дочитает, всё равно же закроет. И что в этого кого-то из твоего текста перейдёт? Зачем ему твоё самовыражение? Он утешения чаёт. Ах, меня бы кто утешил...

И так как некому было поплакаться, кроме жены, звонил ей. Часто не бегал в город, звонил из вестибюля. Там иногда бывало свободно. А вообще, ожидая очереди к телефону, легко можно возненавидеть женскую породу. Невольно вспоминалась шутка: женщина говорит подруге: “Вчера мужу доказывала, что я умею молчать. Так доказывала, что голос потеряла”.

Из кабины в вестибюле долетали расспросы про котов Мусика и Пусика да про собачек. Как они погуляли, хорошо ли едят?

Желание услышать родные голоса возникало именно в минуты близкого отчаяния во время работы. Я жене не жаловался на то, что у меня работа не идёт, вообще не говорил о работе, но всё равно от разговора с ней становилось легче.

Меня жена ревновала к дочке. И вся в меня, и делится не с ней, а со мной секретами. “Папа, мне в нашей группе Миша нравится, он такой самостоятельный. — А в чём это выражается? — Нет, папа, он не выражается, он самостоятельный. — Из чего ты вывела, что он самостоятельный? — Он воспитательницу не слушается. — Да, это сильный признак мужского характера. А ты ему нравишься? — Вполне”.

И жену услышал. Она взяла трубку.

— Что это у вас за Кукарачка? Страшнее не было имени для собаки?

— Собака же не понимает значения слова, ей важна интонация. Катерине понравилось?

— Ей бы ещё понравилось уборкой заниматься. Ну, всё? Не звони, деньги не трать.

Я вздохнул, выходя из кабины. И опять пошёл мучиться над безжалостным пространством белых листов.

### **“Тварь я дрожащая или право имею?..”**

Такой Достоевский вопрос, который он поручил Раскольникову задать читателям, я гневно задавал себе, сидя на высоких ветвях своей сосны. Только вместо слова “человек” ставил слово “писатель”. И не старуху-процентщицу я собирался убивать, у меня дичь была покрупнее — повесть. Но, как сказала бы моя мама, как на пень наехал — работа не шла. Опять сбежал от стола, опять поднялся к своему месту. И на сосну залез.

Было над чем подумать: срок пребывания стремительно катился к завершению, а сделанного у меня в результате, в активе, в сухом остатке, на выходе, как ни назови, — всё ноль. Только и плодил черновики для растопки костерка. Но и оправдывал себя: то, что хотел делать здесь, показалось неинтересным, мало значащим. Обилие собиравшихся в обеденном или зрительном зале пишущих людей угнетало. Ведь все думают, что пишут нетленки, иначе зачем же и писать? И где будут те, ещё не изданные их книги? А книги обязательно будут. Тут же все члены Союза писателей. И я скоро вступлю. Так, по крайней мере, мне предсказывали рецензенты и издатели. Тот же Тендряков. Разве бы он, при его требовательности, написал бы предисловие к слабой рукописи? Ну, стану одним из этих многочисленных, дадут мне номер с окнами, с верандой, с видом на море и на горы. И что?

А уже с самого детства я не писать не мог. Всю жизнь меня постоянно тянуло сесть за стол. С другой стороны, когда, как говорили раньше, вошёл в меру возраста, стала мучить убийственная мысль: ну, напишу, ну и что? “Но другие-то как?” — размышлял я. Вот бы мне такое самомнение, как у критика Вени. Да нет, это слишком. Но и комплексовать без передышки тоже глупо. Дана тебе способность слова в строчки складывать — складывай. Но дано и умение эти строчки зачёркивать. Ну и зачёркивай, и опять складывай. Сизиф отдыхает.

И что дальше? Сказал же Владимир Фёдорович, предисловие написав: “Смотри, дальше будет труднее. Сказал “а”, говори и “бэ”, и весь алфавит. Первая книга окрыляет, но она и обязывает. Её надо скорее забыть”. Ему легко говорить. Она у меня ещё и не выходила, а уже надо её забыть. Весело. А сейчас у меня вообще всё затёрло. Ни бэ, ни мэ, ни кукареку.

А всё Соня, сваливал я вину на неё. Сглазила. Сам виноват, зачем сказал ей о планах. Этого никогда не надо делать. Как у Суворова: “Если б моя шляпа знала мои планы, я бы бросил её в печь”.

Не пишется — и всё! И без толку бумагами шуршать. Хоть топись. И перед Владимиром Фёдоровичем стыдно. А что делать? Запить? Поехать на экскурсию в Горный Крым или к Бахчисарайскому фонтану? А взять да

вообще по “юбке”, как прозвали южный берег Крыма, ЮБК, прокатиться на остатки денег? Чего тут-то сидеть? Переживать за поражения Серёги в бильярде? Слушать нотации Вени-критика?

И мне то казалось, что я зря приехал, то что очень даже не зря. Какая-то работа свершалась во мне, что-то сдвигалось в сознании. Этому очень даже помогал мужской клуб.

### Мужской клуб

Время в Доме измерялось едой: трёхразовое питание. Плюс полдник, плюс кефир перед сном. В это время пространство между спальным и обеденным корпусами оживало. Завтрак, обед проходили обычно. Входили и выходили. А перед ужином передвижение застревало у крыльца ресторана. Тут в это время, так сказать, стоя заседал такой временный мужской клуб. Может, и оттого он формировался, что дамы шли на ужин причёсанные и в нарядах.

Но если утром мужской клуб был малочисленный по количеству и краткий по времени, то вечерний оказывался и продолжительней, и понаселённей. Утренний — до еды, вечерний — перед едой. Наравчивали аппетит, упражнялись в остроумии. Много чего я тут наслушался. Цитаты, выражения, возражения, случаи из жизни сыпались изобильно. Писатели.

— Меня бы жена дома так кормила... — начинал один.

— Ты бы и писать перестал, — поддевал другой.

— Нет, — поправлял другой, — к бабам бы побежал.

Третий тоже не отставал:

— Товарищи, хлебайте щи, а мясо съели служащи. — И добавлял на грани крамольного: — Пролетарии всех стран, соединяйтесь, ешьте хлеба по сту грамм, не стесняйтесь. А знаете, как лозунг этот на украинском? Голодранци усих краин, гоп до кучи!

Подходил ещё один пишущий и вопрошал:

— Так зачем, скажи мне, Петя, если так живёт народ, по долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд?

— А с Брежневым согласовали разговоры? — вопрошал пародист. — Маршал Жуков докладывает Сталину план новой операции. Тот спрашивает: “А полковник Брежнев утвердил?”

— У нас после Хруща начались новые традиции во власти, — солидно вступал предыдущий. — Вновь приходящий правитель гадит на предыдущего и так далее. Вновь пришедшему начинают создавать культ...

— Мы же и создаём. Писаки.

— Нет, ребята, на писак всё не валите: они слушают мнение народное. Народ Лёне верит. Никиту при его жизни ни во что не ставили. Я делал обзор писем в “Сельской жизни”, сейчас много писем в его поддержку. Стихи даже народ пишет: “Товарищ Брежнев, дорогой, позволь обнять тебя рукой”.

— Никиту вспомнили, — вскинулся седой мужчина. У него под рубашку была надета тельняшка. — Уж как только не надрывался, чтоб Сталина с дерьмом смешать, не получилось. Меня позвали...

— Как не получилось? Уже Волгоград, а не Сталинград. А ты чего, Пётр Николаевич, хотел сказать?

— Меня позвали выступать перед воинами. Обсуждение книги “Десант на Эльтигене”. Тоже, кстати, Крым. Прошло хорошо. Потом, как водится, бешбармак. В офицерской столовой. Сидим. Никиту ругаем: корабли на металлолом резали, офицеров во цвете лет гнал в запас. Я встал: “Отделением сержант командует, взводом — лейтенант, ротой — капитан, батальоном — майор, полком — полковник, соединением, дивизией — генерал, фронтом — маршал”. Сделал паузу. Все ждут, чего скажу. А кто, говорю, маршалами командовал? Должен же быть Верховный командующий? Должен! Вы же военные люди. Предлагаю встать и вышить за Верховного! Сталина не назвал, но все поняли. Встали и вышили.

Подходил опаздывающий. Петя-пародист приветствовал:

— Ты чего такой печальный? А, понимаю. Достоевский умер, Толстой умер, и тебе что-то нездоровится. Правильно говорю? Тебя ещё Арий не измерял?

Про Ария мне потом Сергей объяснил. В Московском отделении Союза писателей, а это самое малое полторы тысячи членов, был специальный человек, которого главное дело было заниматься похоронами. Ведь писатели тоже люди и тоже умирают. Так вот, этот Арий просто членам Союза ничего не обещал. То есть материальная помощь будет, и гроб помогут заказать, но остальное: венки, кладбище, прощание — дело наследников. А если вы уже член правления, то гроб выставляют в вестибюле, тут уже и вахта с траурными повязками у гроба, а если вы секретарь правления, то гроб будет стоять в Малом зале. С музыкой и речами. А если уже секретарь Большого Союза, то есть всего СССР, тогда прощание в Большом зале. Речи, почётный караул. И кладбища занимали по ранжиру. На Новодевичье могли претендовать Гертруды (Герои Труда), но оно же не резиновое, уже и Ваганьковское становилось проблематичным, ибо созревание и умирание знаменитостей не останавливалось. Престижные мемориалы становились перегруженными, но пришло на подмогу Ново-Ново-Девичье, названное так Кунцевское. Этот Арий забавлял пишущий народ: подходил к писателю и начинал его измерять, начиная с головы, растопыренными пальцами, объясняя при этом, что надо заранее снять мерку для заказа гроба, что у него мера — расстояние от среднего до большого пальца — точная: двадцать сантиметров.

Также прочитанная свежая “Литгазета” вызывала прения своим разделом о награждениях, премиях, званиях. Члены клуба имели на всё своё мнение: кому-то звание дали рановато, кому-то запоздало, кого-то вообще обошли, а кого-то вообще ни за что завалили и металлом, и премиями. Особенно не щадили пишущих женщин. Все их награды и успехи объясняли однозначно:

— Переспала, вот и весь секрет.

— Кто как может. Вон, у Кожина исследование о “Нобелевке”. Читайте: там поэтесса, забыл фамилию, да и знать не надо, со всеми почти членами Комитета поамурничала — и пожалуйте. Всех значительных в двадцатом веке обошли, может, Бунину только, да Шолохову за дело.

— Бунин эмигрант политический, а Шолохову дать премию вынудили: наши ракеты на Кубе стояли, Громыко посодействовал. Пастернака — за диссидентство.

— А сколько эта премия?

— Какая тебе разница, тебе же не дадут. Вот премия была — братьев Гонкуров. Сколько её денежное содержание? Два франка. А получить её было самой заветной мечтой всех пишущих и рифмующих.

— Французов. Анри Барбюс не хуже Ремарка о Первой мировой написал, дали по справедливости.

— Народ! Только что прочёл, что Диме Шутову дали на пятьдесят лет Трудового Красного Знамени, а хватило бы ему “Весёлых ребят” (так в просторечии называли орден “Знак почёта”). Или даже знака “Трудовое отличие”.

— Ему даже знака “Победителю соцсоревнования”, и то много.

— Вообще ничего не давать!

— Ну, старик, это жестоко: все штаны, в Большой дом бегаючи, изорвал, одни пиджаки остались, хоть их украсить.

— А я вам новость скажу — всех утешит. Сейчас же введён “Знак качества” на продукцию...

— Да его везде шлёпают, только на капусту не ставят: расплывётся.

— Не перебивай, не капусту выращиваем. Такой знак будут ставить на наших книгах. Знак и штамп: “Сделано в Ялте”. Как такую книгу не купить?

— Отштампованную? Читателей не обманешь.

— Их уже двести лет обманывают.

— Какао не обманет, но стынет!

## Другие темы

В другой раз цитировали выразительные цитаты из классиков. Тут я тоже немного поучаствовал. Уже перестал стесняться тем, что я вроде как не по чину живу тут, ещё не член Союза. Но Сергей и Венья почти насильно втащили меня в круг общения. “Чего тебе стесняться: пишешь, в издательстве работаешь”.

После своеобразного состязания в знаниях текстов одобрили фразы из Набокова, из “Приглашения на казнь”: “Маятник отрубал головы секундам”; из Булгакова, из “Дней Турбиных”, там выпивший Лариосик любит-ся в застолье офицером: “Как это вы так ловко рюмку опрокидываете?” Тот отвечает: “Достигается упрощением”. Я вступил в беседу, сказав, что слышал, как Астафьев, знающий наизусть “Конька-горбунка”, очень восхищается строчкой “как, к числу других затей, спас он тридцать кораблей”. “К числу других затей” — здорово? Все одобрили. Осмелев, я ещё и Солоухина вспомнил. Он очень высоко ставил “Мастера и Маргариту”, место, где бесенята Коровьев и Бегемот даром раздают женщинам модную одежду и обувь. “Вот одна примеряет туфли и спрашивает: “А они не будут жать?” Даром достались, ещё и жать!”

— О, а у Чехова, помните, пишущая баба пришла, её ещё Раневская сыграла. Она читает писателю свою пьесу, там вот эта ремарка меня восхищает: “В глубине сцены поселяне и поселянки носят пожитки в кабак”. А?

— А вне конкуренции знаете, какие изречения? — спрашивал высокий седой мужчина. Теперь я уже знал, что он Пётр Николаевич. Но из-за тельняшки, которая была надета под рубашку, я стал про себя звать его мореманом: — Самые крепкие изречения — это народные. Пословицы, поговорки. Даже и частушки. Вот это народная или нашим братом сочинённая: “Подрастает год от году сила молодецкая. По всему земному шару будет власть советская”?

Решили, что всё-таки сочинённая. Про советскую власть в мировом масштабе большевики бредили, а после революции поостыли. Мореман продолжил:

— Но вот эта точно народная: “Спасибо партии родной за любовь и ласку: отобрали выходной, оскорбили Пасху”. Не оскорбили, в подлиннике крепче.

— Да, в народе вспыхивает реакция мгновенная на события. В пятьдесят третьем летом шли с сенокоса, встретился мужчина, говорит: Берию арестовали. Как, что? Не верится. А он говорит: уже всю частушка пошла: “Что наделал Берия, вышел из доверия. А товарищ Маленков надавал ему пинков”.

— Ну да, хлётко. А вот эта почище, на смерть Ворошилова. Полковник дутый, около Сталина и Будённого тёрся, ворошиловский стрелок. Указы расстрельные подписывал на многие тысячи по спискам. Печатают о нём некролог, в народе тут же: “Умер Клим, да и хрен с ним”.

— О народе вспомнили, — ехидно вставил кто-то. — Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него?

— Именно так. Но мы-то имеем все шансы вернуться, а в начальстве кто? Не кагал, не клан, а шобла.

— Ну-ну, потише. Пить надо меньше.

— Друзья-товарищи, а что мы Александра Сергеевича, не Пушкина, но тоже великого, Грибоедова, не цитируем? “Петрушка, вечно ты с обновкой, с разорванным локтем”. Видно всё сразу. Потом и сама Лиза: “Лишь я одна любви до смерти трушу. А как не полюбить буфетчика Петрушу?” Именно этого. А Лизу Молчалин лапал. Но ей Петруша милее. “Хоть Ивана вы хитрее, но Иван-то вас честнее”. Опять Конёк-Горбунок вывозит.

За время срока, конечно, невольно многих запомнил: Серёга, критик Венья, другой критик, Петя-пародист, Яша-драмодел, писатель этот мореман, Пётр Николаевич. Ещё автор уголовных историй Елизар. Да Сашок, сантехник.

— А у Шмелёва, — напористо завоевывал внимание Веня, — как это можно его не издавать? Возвращаю к теме цитат из классиков. У него Сидор на водокачке говорит лошади: “Вот так ты походишь, походишь по кругу, а вся тебе награда: пойдёшь на живодёрку. Такая тебе планида судьбы”. Планида судьбы. Умели классики.

— Да и мы умеем! — опять выставлялся коротенький лысый пародист Петя. За ним, кстати, бегали поэты, прося написать на них пародию. Этим тоже достигалась известность. Ещё был в фаворе длинный пародист Иванов, но его в этом заезде не было. Знакомством с ним — вот времена и нравы! — хвалились. А коротенький, в отсутствие конкурента, выставлялся в мужском клубе новыми своими пародиями. На писателей, на, конечно, отсутствующих. Одну я запомнил: “Старый прозаик, по имени Петя, книгами сыпал, в классики метя. Музу ему подложили в кровать. Незачем больше Пете писать”. Но это не о тебе, Петя, адресовался он к писателю, тут же стоящему. Это тот, — он показывал пальцем вверх, намекая на свою смелость. И доказывал её: — Друзья мои, ведь дело наше — швах: долдоним только о деньгах да тиражах.

Прав Петя: и тиражи обсуждали, одинарный или массовый. Первой книге обычно давали тираж тридцать тысяч. За авторский лист — сто пятьдесят рублей. Полуторный тираж — пятьдесят тысяч, здесь авторский лист (двадцать четыре машинописных страницы) — триста рублей; массовый, с двойной оплатой, начинался со ста тысяч, то есть шестьсот рублей за лист. Считайте сами: если книга листов двадцать самое малое, то при массовом тираже автор получает двенадцать тысяч. Если учесть, что машина “Волга” стоила восемь, то жить писателям очень даже можно.

В клубе были популярны пародии Михаила Дудина, например, о Мариэтте Шагинян: “Железная старуха — Маргоша Шагинян, искусственное ухо рабочих и крестьян”. Запомнились ещё шутка: “Мы на переподготовке были после второго курса. Там майор был, вояка, гонял нас. Выстроит, кричит: “Кто из вас за родину воевать будет? Пушкин? Убит! Лермонтов? Убит! Я? Отвоевался”. Ещё внезапно вспыхивал всегдашний спор новаторов и консерваторов.

— Прогресс двигают консерваторы!

— С чего ты вдруг?

— Да потому что достали эти выдрючивания, завихрения, всё же было это раз: “дыр-бул-щил”, вся эта экзерсестика-маньеристика-верлибристика.

— Чего ты? Если им интересно, пусть.

— Но зачем? Будто солнце иначе встаёт, или деревья вверх корнями растут. От Сотворения мира всё по-прежнему.

— Повыщёлкиваются, повыкобениваются и перестанут.

— Кто и засидится. И жизнь у дураков зря пройдёт.

Но вообще, при всей разногласии мужской клуб встряивал, думать заставлял, даже смелеть. Хотя я всегда, это от мамы и отца, считал, что надо говорить правду. Какая же смелость, если ты говоришь правду? Это нормально.

Не критик Веня, а другой критик, а как другого зовут, не помню, неважно, вдруг завладевал вниманием:

— Ремесленники, рабы тщеславия! Слушайте сюда. Литература гибнет — это аксиома, не требующая доказательств. Как её спасти? Я коротко, концептивно, тезисно. По примеру христианской идеологии: человеку мешают три эс: сребролюбие, славолубие, сластолюбие, а писателям мешают три ПРЕ. Их надо убрать из писательской жизни, эти три ПРЕ. Что такое ПРЕ? ПРЕпятствия. Вот они: ликвидировать ПРЕдисловия, ПРЕзентации, ПРЕмии. Всё! Литература спасена! Предисловие оставить в виде авторского кредо к первой книге, с чем писатель входит в мир словесности, его взгляды на жизнь, его саморекомендация, а презентация — вообще позорное слово, есть же русское — смотрины. Что презентовать, если ещё не прочитано? Пьянка одна. Вонзание штопора в упругость пробки? Премии — вообще гибель. Кому дали, кому не дали, всегда дали не тому. То лизоблюд, то хам, то угодил в тему. Но помощь писателям нужна, особенно старикам



и молодым. Не премия-подачка, а помощь! Нужны писатели — стипендиаты заводов, колхозов, фабрик.

— Ну, ты хватанул! Романтики пера эт сетера, очнуться вам давно пора, — подел пародист Петя. — У нас, подумай головой, кто в нашем деле рулевой?

Но не вышло у Пети перебить критика

— Именно рулевой, спасибо, подсуфлёрил. Евгений Носов — вот прозаик! Из Курска. И всё был неизвестен. А напечатала у него “Комсомолка” очерк “Жили у бабуся два весёлых гуся”, и случайно прочёл лично наш дорогой Леонид Ильич, и похвалил — Боже мой, что началось! Как кинулись шестёрки-журналиги, да и наш цех, литкритиков, прямо скажу, не отставал, целый хор раздался голосов с подголосками: велик и недосягаем курский соловей Евгений Носов! Не прозу его хвалили — очерк! Вдумайтесь в моральный облик тех, кто делает погоду на литрынке.

— У них морали нет! Тем более облика.

— Но что же мы скажем в ответ: таких среди нас здесь нет. — Это, конечно, Петя-пародист. Он знал, что запоминают не первых, не средних, а последних.

### Крым не наш

Также проблема Крыма умы задевала. При Хрущёве Крым стал частью Украины. Громогласный мореман очень возмущался. Он говорил:

— С чего вдруг Никита раздобрился? Лёня бы не отдал. Где вы тут радянську мову слышите? Или суржик, или русский язык. А везде надписи по-украински. Какая зупинка? Чем плохо остановка? И эти женочи та человеци, чохи та панчохи. Одежда — одяг.

— Да им хоть как, лишь бы не по-москальски.

— Это не сейчас началось. Ещё при Алексее Михайловиче такая присказенька была: “Мамо, мамо, бис у хату лизе. — Нехай, дочка. Абы не москаль”. То есть пусть хоть нечистая сила, лишь бы не москаль.

Тут и я отметился:

— Служил с украинцами. Парни службистые. Ещё на первом году надо мной посмеялись: “Эх ты, москаль, не можешь слово паляныця сказать!” А я думаю: надо же — всё вятский был, а тут уже москаль, в звании повысили.

— Вообще, у них жена — жинка — это неплохо, — одобрял непремный участник клуба Сергей. — Нежненько. А муж вообще: чоловік! А супруга, знаете, как? Это прямо крепость для мужа: супруга у них — дружина.

— А у нас дубина, — сердито говорил романист детективного жанра Елизар. — Вот моя: делать ей совершенно нечего, как только за мной следить. Все ему сочувствовали.

Скоро я понял, почему Сергей стал одобрять украинский язык. У него в эти дни происходили два текущих события: одно невесёлое — драматург Яша его общёлкивал на бильярде, денежки вытягивал. А Сергей из самолюбия не хотел сдаваться. Но второе его воодушевляло: приехала сравнительно молодая поэтесса из Москвы. Очень сравнительно. Но москвичка. Бывшая киевлянка. Серёга за ней приударил. Докладывал:

— С квартирой. Дача. Муж в годах.

— Но ты-то тут при чём?

— Разведу. Я чувствую, у неё с ним нелады. Она неглубоко замужем. Какой-то, чувствую, чинуша. Ей понимающий нужен. А это я умею. Он, видимо, дуб-дубарём, она-то вполне. Она, предполагаю, полквартиры отсудит, нам на первое время хватит. Я её третий день окучиваю. Уже на бульваре посидели, она даже мне и спела “Мисяц нызенько, вечир близэнько”.

— Надейся, надейся, твоё сердэнько! — не удержался я поддеть. — Чоловиком станешь.

— Не надеюсь, а твёрдо уверен, — отвечал Сергей. — Хохлушки — это не хохлы. Те упёртые, как быки, а хохлушки — это, это... Это вообще что-то такое нечто. Я тебя познакомлю. Она яркая шатенка.

— Рыжая?

— Но не крашенная. Такая и есть. И вот ещё что, только тебе: тебе нравится Ялта?

— Да уж больно она залитературена да закиношена. А так, конечно. Море.

— Море, да. Так вот. Ганна, она сейчас уже Жанна, от Ялты без ума. У неё и с мужем нестроение в этом. Она о доме в Ялте мечтает, а он ни в какую. А я за эту ниточку уцепился. Но тут деньга нужна серьёзная. Не прежнее время. Чехов пишет жене: “Дорогая, боялся, что не на что ехать к морю, но Суворин взял два рассказа, и лето обеспечено”. На наши гонорары с рассказа хватит только на раз с парнями посидеть. Да и то не ресторан, а пивная. Да, о Чехове: живёт он в Ялте, ему нравится. Дышит. У него же лёгкие неважные. Но неохота на съёмной жить. Пишет жене: давай свой дом купим. На следующий день в том же письме строчка: купил. В том же письме к вечеру: после обеда я подумал, что купленный дом далековато от моря, и купил ещё один, поближе. А дальше, слушай, дальше следующий день. В том же письме: дорогая, я окончательно решил, что дом надо строить свой. Поэтому сегодня я купил участок земли. Всё это я у Залыгина прочитал, он хорошо о Чехове написал. Где нам такие гонорары взять?

— Премии дадут.

— Дадут. Догонят, да ещё поддадут. Премии, дружок, без нас делят.

### Громкая читка близится

Дежурная в корпусе сказала, что меня искали.

— Владимир Фёдорович?

— Нет, от Ионы Марковича.

И в самом деле, вскоре постучался молодой человек, очень приличный, вида референта при большом начальнике. Даже в костюме, даже при галстуке. Представился секретарём Ионы Марковича.

— Вы знаете, что вы приглашены к нему?

— Да, он звал.

— Встречу переносили по не зависящим от него причинам.

— Да, в винные подвалы ходили.

— Встреча, он просил напомнить, будет завтра. В семнадцать ноль-ноль. Ужин будет в номере Ионы Марковича.

Ещё меня навестил Сашок. Он пришёл с бутылкой. Он ко мне и без меня заходил, я номер не закрывал. Часто его сумка с инструментами ночевала у меня. Он пришёл, спросил разрешения присесть. Тем более я и не за столом сидел, а лежал на диване.

— Плесни и мне, — неожиданно даже для себя сказал я. — Три капли. Ты кропли, как говорят паны поляки.

— Ого! — обрадовался Сашок. — “Броня крепка, и танки наши быстры!”

Я переместился к столу, взял стакан:

— “И наши люди мужеством полны...” Саш, скажи честно, только не привирай: ты тогда про Соню выдумал?

— Что именно?

— Что она такая вся из себя: в ресторане с кем-то сидит и так далее? Только не врать! А то очную ставку устрою.

Сашок смущённо хмыкнул, покрутил стакан, раскрутил водку в стакане и заглотив её. Объяснил:

— Так она легче идёт. Эх! Один татарин в два шеренга становись!

— Ты про Соню, про Соню. Закуси.

— Хорошо, признаюсь. Конечно, не такая. Это я тебе как мужик мужику говорю, не такая. Я же тебе уже и говорил: она на все сто. Ни в какие рестораны не ходит. Честно скажу: вначале хотел с ней время провести, думал, всё получится. Здоровается, улыбается. А я тут, в этом доме, на бабье наглядился. А-а. Думаю, значит, и мне можно. А Соня такая манкая, заманчивая. Пошутил два-три раза. То, сё. Выбрал момент, кран у них на кухне менял. Она там. Тонко намекаю ей на толстые обстоятельства. Приобнял

так игриво. А она: я тебе сейчас по морде надаю. Да так сказала, я понял: надаёт. Да так взглянула! Ну, брат. И вся любовь. Мне, конечно, обидно стало: за мужика не считает. Вот с обиды тебе и сказал. Ерунду наговорил, никуда она не ходит. А ты чего сидишь, как красная девица, подымай. За тех, кто в горе. — Он, так и не закусив, снова взял бутылку за горло. — А честно сказать, она и права. Мы ведь как о них думаем? Такие и сякие, думаем. Чего не пьёшь? Жена у меня никакая, любви у нас не было. Откуда взяться: по пьянке женили. В постель, как на каторгу, шёл. Так мне и надо. А ты чего спрашиваешь, на Соню запал? Понравилась? Займись.

— У меня жена со мной венчанная. Работать приехал. А работа не идёт.

— Пойдёт, — уверил Сашок. — Сегодня в подвале сочленение в системе отопления менял. Вмёртвую всё заржавело, слезится, подтекает. Надо было шесть огромных гаек — им лет по пятьдесят, метрическая резьба — свинтить. Думал, не смогу. Полдня корячился. Свинтил. И ты свинтишь.

Он налил было ещё, но, подумав, слил водку обратно.

— Соня. За такую Соню я и помереть был бы рад. Мгновенно бы от всех других отскочил, только бы с ней! Ох, она так на мою маму похожа.

— Ну и объяснись. Так и так скажи: прости, по дурасти руки протянул. Да, с ней и речи нет о лёгких отношениях. Только семья!

— По-оздно, — протянул Сашок. — Да и слава обо мне не первого сорта. Иной раз притворюсь, что что-то на кухне или в зале надо, зайду, чтоб только на неё взглянуть. Стыдно же! Она ничего, здороваётся. Но как со всеми. Как со всеми, понял?

— Понял. А тебе надо, чтоб именно с тобой?

— Именно!

Что я ему мог посоветовать? Тут к нам забрёл критик Веня. Он тоже со мной особо не церемонился, заходил и раньше. Опекал меня. Взял, то есть, шефство. Учил жить. Говорил обычно: “Старичок, врубись! Идёт борьба! Становись в строй! Нужны активные штыки!” Я протянул ему свой стакан. Он не чинился.

— Завтра к Ионе Марковичу? К небожителям? Я тоже.

— Но ты-то ему нужен: воспоёшь его шедевр. А меня он из-за Тендрякова позвал. Рядом стояли. Мне и идти-то неохота.

— Ну как же, даже из спортивного интереса: такой ареопаг собирает-ся. Секретари СП СССР, сплошь лауреатство. Олимп! Повелители умов!

— Мы идём слушать новое произведение, — объяснил я Саше.

— А которому жена пить не даёт, пойдёт? — спросил Сашок. — Про милицию пишет.

— А, — понял Веня, — уверен, что зван. Знаменитость. У него и фильмы, и однотомники. Это же элементарная литература, детективщина, чтиво. Он на Петровке свой человек. Его снабжают делами из архива. Выбирает, что поинтереснее, и переводит в роман. Фамилии меняет. А как не даёт пить?

— Да он здесь каждую осень, это у нас все знают, — объяснил Сашок. — Если не напишет, пить не получит. Она его запирает и уходит. Он потом отчитывается. Она выдаёт бутылку. Он вроде того, что Ерофей Иванович или Елизар какой. Можно у дежурной посмотреть.

— У меня спросите. Конечно, Елизар Ипполитович. Точно так с выпивкой было у Мамина-Сибиряка, — поделился Веня знанием истории русской литературы. — Читал, Сашка, “Зимовье на Студёной”?

— Ещё в школе.

— Молодец! Не пропал для вечности, — похвалил его Веня. — А ты, — это уже ко мне, — осваиваешься? Наладил связи? Ты издатель, тебе легче. Не ты должен просить кого-то о чём-то, а тебя. Чего ты боком ходишь? За чем тогда в Дом творчества ездить?

— Веня, я так не умею. Я тут многих вообще не знаю. Только которые мелькают по журналам и книгам, по фотографиям. Да и зачем знать? — рассудил я. — Это как знаменитый Егор Исаев: “Я могу кого-то не знать, но знаю, что меня знают”. А мне ещё легче: и я не знаю, и меня не знают.

— Обожди, пока не забыл, про Елизара, — перебил Веня, — тут уже я, как радатель русской словесности, имею мнение, — Веня снова глотнул. —

Елизар единственно чем молодец, в чём его поддерживаю, я даже с ним вчера тайком от его жены выпил, в чём одобряю: он у детективщиков хлеб отбирает. Несть им числа, заполонили все книжные полки. Прямо братство Лайнеров. Мусор создают, мусор сеют в головах, губят время, понижают вкус. У Елизара, по крайней мере, очистка страны от мусора.

— Милиционеро́в мусорами называют, — вспомнил Сашок.

— А что Егора вспомнил, — повернулся ко мне Вения, — это точное попадание: Егор — орёл. Он наш человек: за молодых буром прёт. Я его высказывание люблю: “В литературе, милый мой, чем дальше, тем ближе”.

— Тогда получается: чем ближе, тем дальше? — спросил Сашок.

— У Твардовского “За далью даль”, — напомнил я.

— Конъюнктурная поэма, — сурово отрезал критик Вения.

— А посещение лагерей?

— После двадцатого съезда разрешённая тема.

Вения на всё имел критические замечания. Был в прелестной уверенности, что руководит литпроцессом. “Критики — кнуты для писателя”. Я же считал, что писателям не кнуты нужны, а пряники — внимание читателей. Зачем и критики, когда оно есть? А критики только тем и занимаются, что сводят счёты друг с другом. Лучше сказать: враг с врагом.

### Опять читку перенесли

Самое смешное, что секретарь южного классика опять постучался. Весь такой чёткий, рафинированный, в моём карцере очень живописно смотрелся. Видимо, его удивляло, как это его всеильный шеф зовёт в высокое собрание человека из номера, в котором одно окно и то крохотное, и то во двор.

— Вынужден огорчить. Иона Маркович извиняется, что переносим. Но мы, простите, не учли, что это будет седьмое ноября. Тогда на восьмое. Пожалуйста, пометьте в календаре.

— Так запомню, — обещал я.

Утром на другой день на берегу, одеваясь после заплыва, Владимир Фёдорович высказался:

— Тянет, важности нагоняет. Чего было тогда не прочесть?

— Владимир Фёдорович, а хорошо бы и вам прочесть хотя бы отрывок.

— Да я-то бы прочёл, да Наташа не разрешит.

— Ничего себе. Почему?

— А где мы приготовим на такую ораву вина и закуски? Это, брат ты мой, южный классик. Они в республиках всё в кулаке держат. Там перед ними ихние Минкульты на цырлах. Он же и депутат, и вообще многочлен. Эту повесть ещё и не видел никто, а я уже знаю, что её напечатают. И там на двух языках, и в Москве в журнале, потом и в “Роман-газете”, потом в отдельной книге, потом будет театральная постановка, потом сценарий для фильма и сам фильм. Нам с ними не тягаться. Ты кого-нибудь переводил?

— Бориса Укачина с Алтая.

— Но хоть хороший?

— Очень! — искренне сказал я. — Подстрочник он сам делал. Я читался их эпосом, чтобы войти в обычай, в ритмику языка. Это о детстве его. Голод у них какой был. Всё, как у нас. Картошку прошлогоднюю ходили весной, после снега, искать. Олады из неё пекли. Взялся я за перевод, честно говоря, из-за денег.

— Ещё бы даром. Но ты же не будешь славить достижения партии и правительства. А то сплошь спекуляции, славословия путям, указанным дорогой партией. А этот Ваня Ваней, а уже своего переводчика и редактора сюда высвистнул. Ну что, побежали!

### Семь сорок в честь революции

Накатило седьмое ноября. Годовщина Октябрьской революции.

— Почему не ноябрьской? — вопрошали пытливые умы мужского клуба. — Ведь “вчера было рано, завтра будет поздно” провозглашено по старому

стилю. А старый стиль большевики похерили, должны были и переворот называть ноябрьским.

— А тебе не всё равно, когда выпить? — поддевали остряки.

— Всё равно, но когда подкладка теории, то оно как-то спокойней.

Никакого торжественного собрания или митинга в Доме творчества не было. Но красные флаги заколыхались и на главном корпусе, и на обеденном. Ходившие в город говорили, что там прошла демонстрация. Мы поняли: услышали пальбу и увидели россыпи салюта на фоне моря.

Сидеть над бумагами бесполезно. Звонил домой. Жаловался, что работа не идёт. Жена задала совершенно логичный вопрос: “А зачем поехал?” Сказала, что звонили из издательства: можно получить деньги за рецензии. Так что хоть это как-то оправдывало моё пребывание. Ведь я написал их в первые три дня, послал. Кажется, как всё это было давно. И этот Дом, и десятки раз топтанная по утрам дорога к морю, и само море. Но море не только не надоело, оно всё время тянуло. От утреннего погружения, каждый раз с невольным содроганием, до вечерней прогулки. На которую старался пойти один. Да, в общем-то, особо никто и не стремился гулять: холодно.

На громкую читку совсем не хотелось. Никакого интереса к знаменитостям я не испытывал. Всегда сторонился знаменитых, а также денежных. Почему, не знаю. Со знаменитостями будешь в их облуге, с денежными будут думать — пристаёшь из-за денег.

Торжественный ужин начался раньше на час. Потому что приехали заказанные Литфондом артисты и прибыл оркестр.

Ужины здесь и без праздников всегда были приличные, а тут на столы выставлялось такое обилие блюд, что все дивились. И приехавшее начальство, и местное осталось довольно. Меж столов порхали официантки в белых передничках, и гуляла их старшая. Любезно улыбалась. И к нам подошла. Не надо ли что-то ещё? Мы благодарили: спасибо, лучше некуда.

— Наш стол, Соня, конечно, у тебя самый любимый, — сказала Наталия Григорьевна.

— Ещё бы!

Пели и плясали артисты изрядно, а отпев и отплясав, сели угощаться. Их сменил оркестр для танцев, который наяривал зело борзо. Танцевали в просторном вестибюле. Вдоль стен на столах сверкали напитки и пестрели закуски.

Я вжался в простенок меж окон и смотрел. Конечно, не танцевал. Никакого танго, никакого вальса не включали, только быстрые. Но не украинский гопак, не матросское “Яблочко”, не лезгинку грузинскую, не молдавский жок, не белорусскую бульбу, даже не фокстрот. Ещё быстрее. Самое медленное — часто тогда звучавшее “Бесаме мучо”. Вспомнил знакомую старуху, которая об этом танце говорила: “Бес вас замучит”. Да ещё двигались под звуки “Домино”. Опять же вспоминал его переделку: “Домино, домино, денег нету, а выпить охота”. Тут, в праздник годовщины Октябрьской революции ритмы гремели боевые, победные. Грохотали с лихорадочной скоростью звуки плясок, тряслись под них. “Летку-енку” танцевать вытаскивали всех. Я уцелел. Потом ударили “Эге-гей, хали-гали, эге-гей, самогон. Эге-гей, сами гоним, эге-гей, сами пьём!” То есть это были знаменитые “бути-вуги”. И новые ритмы услышал я и увидел, как под них двигаются. Тогда впервые познакомился с классикой еврейских танцев: “Хава нагила” и “Семь-сорок”. Это было нечто. Это можно сравнить с ритуальной пляской победителей. Музыка так энергична, ритмична, заразительна, что только заношенные, замученные ходьбой по асфальту ботинки удержали от участия в торжестве празднования Октябрьского переворота. “Хава нагила” в переводе “Давайте радоваться”, танец ликования. Это мне драмдед Яша объяснил. И меня пытался в круг поставить. Нет, я бы так не смог. Тут нужна тренировка. Круги были: один, побольше, вращался по часовой стрелке, другой, внутренний, против часовой. И всё время с согласным приплясом в едином ритме.

А уж когда грянул пляс “Семь сорок”, тут пошли и пары, и кадильные кресты из четырёх человек, и отчаянные одиночки. Всё содрогалось и кипело. Не одни же тут были евреи, но плясали все.

Меня увидела Соня. Она и тут столами командовала. Весело спросила:

— А вы что стоите-простаиваете?

— А вы что то же самое?

— Мне нельзя, я на работе.

— Я, как они, не умею.

— Тут и уметь нечего, топчись да дёргайся.

— Честно говоря, я уже уходить собрался.

— Можно, я вас немного провожу?

Мы вышли в прохладу позднего вечера.

— Знаете, почему я напросилась проводить? Мне надо сказать, чтобы вы ничего не подумали. Что тогда с Олей пришла, что навязываюсь?

— С чего это вдруг, что вы?

— Спасибо. А я почему пришла: я вас в первый день, как из отпуска вышла, заметила, я вам говорила, ваше сходство с ним, с парнем, с которым любовь была. В регистратуре у меня знакомые, сказали, что у вас в паспорте Кировская область, это же рядом с моей родиной, Архангельской. И я... — Тут она как-то смущённо засмеялась. — В общем, вы мне понравились. И я, я же дура ещё вдобавок, размечталась: вот я ему понравлюсь, он меня на Север увезёт. И чтобы в открытую, без обмана, пошла к вам с дочкой. Но сразу поняла, как вы про свою дочку сказали, что вы жену любите.

— То есть вы архангелогородская? Я это сразу понял: такая красота только у северянок.

— Да ну вас, не вгоняйте в краску.

— А как вы здесь оказались, это можно спросить?

— А чего нельзя? Крымские у нас шабашничали. Я не из самого Архангельска, рядом. Плотничали. На танцы приходили. И вот нашёлся орёлик, окрутил. Вы поняли? Отец Оли. И увёз сюда. А здесь загулял. Пустой человек. Сразу надо было понять. Да я сорвалась больше из-за отчима, у меня папа рано умер, на зимней ловле сильно простыл, в больницу не захотел. Заработать хотел. О семье думал. А отчим всё же отчим. Я на маму сердилась: папу быстро забыла. А потом сама ляжку потянула, её оправдываю: дети же. Ещё после меня двое. Да и отчим стал на меня поглядывать. Ого, думаю. Лучше уехать от греха подальше.

— То есть маму вы не послушались?

— Точно! Она моего Витьку сразу просекла — пустышка. А чем взял? Он среди шабашников всё-таки покультурней был. Но как? Наскрёб хохмошек с “Кабачка тринадцать стульев”, на это дурусти хватило. Шутил, смешил. Привёз к себе сюда. Весело с ним недолго было. Скоро я сама его выгнала, от них ушла. Хотя свекровь, его мать, рыдала: Соня, спаси Витю! Соня, не уводи Олю! Внучку без ума любит. Приходит к нам. А Витька опять где-то порхает. Привезёт Оле куклу и по бабам. — Она оглянулась на окна, из которых неслись звуки энергичной “Рио-Риты”. — Надо идти.

— А как вы в Доме творчества оказались?

— Закончила в Ялте уже кулинарное училище, искала работу. Вот и всё. Меня тянули в рестораны, но это уж нет, спасибо и до свиданья. Пришла сюда, спросила, взяли. Вначале на кухне, потом в простых официантках, потом старшей сделали.

— Мужички говорят комплименты?

— О, этого выше крыши. Это ж писатели! Не подумайте на себя. Но это такие мастера! Стихи дарят. Но я, если что, могу только по-серьёзному. Только так. Конечно, мечтаю о муже. Что в этом плохого? Но чтобы по рукам пойти? Тут только начни. Тут только дай слабинку — сразу вразнос, а у меня дочь. Братика просит. О, если бы уехать на север! Лучше всего! На север! Да? Вы поддерживаете меня?

— Ещё бы! Даже стихи вспомнились: “Мы мчались на север, мы падали вниз, но вверх поднимались по шару земному”. Север! Меня привезли в армию в Москву, так тосковал! Стою в карауле, гляжу на Полярную звезду, от неё на восток, на родину. Писал жене, сейчас вспомню: “Жена моя, милый мой друг, что я, какой больной, чтобы ехать на юг, париться в этой зной. Там звёзды низко висят: плюнь на них — зашипят. Север в нашей

судьбе, там звёзд высоких не счесть. Будешь ходить по избе, как самая что ни на есть!” Простенько, конечно, но из сердца.

— Нет-нет. Очень!

— И ещё. Раз одобряете. “Наш северный лотос — кувшинка. Наш виноград — рябина. Наши моря — озёра. Наша пальма — сосна. Сосна — корабельная мачта, с натянутым парусом неба, прочно в земле стоящая, как в палубе корабля”.

— Здорово! Да, другим не понять: север! Белые ночи! Боже мой! Северное сияние! — Она оглянулась: — Но мне уже совсем пора. Пойду!

Она пригорюнилась, как-то вопросительно посмотрела:

— А можно вас поцеловать? В щёчку.

— Да я ж такой небритый. Решил бороду отращивать.

— Ещё лучше!

Поцеловала и засмеялась:

— Меня первый раз поцеловали именно в белую ночь. Тоже только в щёчку.

Ещё раз поцеловала и убежала. И вдруг вернулась:

— А есть сменные брюки? Сложите эти в пакет и соберите рубашки тоже. — И опять, ещё с большей скоростью, унеслась. Уже без поцелуя.

Даже и ночью музыка этого вечера билась в памяти слуха, не давая спать. Конечно, наутро было не до работы.

Не выспался потому что.

### Итак, громкая читка

Громкая читка у Ионы Марковича состоялась на очень просторной веранде его номера. Совершенно открыточный вид на море, на горы, на небо. Сама веранда представляла как бы уличное кафе: гастрономическое обилие поражало с первого взгляда. Не успели мы отойти от вчерашней, грубо говоря, обжираловки, как на просторах секретарского номера нас ожидало застолье олимпийское. Кресла для сидений на веранде были расставлены в изысканном беспорядке, но каждое имело соседство со столиком. А столики загружены яствами так, что у них подгибались фигурные ножки.

Иона Маркович был весел, благодарил за то, что удостоили посещением, говоря, однако, при этом, что очень волнуется.

— Надо же, — вполголоса насмешливо сказал Владимир Фёдорович, мы сидели рядом, — волноваться умеет. Сколько всего тут, попробуй, покритикуй.

Елизар, любимец Петровки, 38, был уже выпивший. Он рядом с нами сидел с другой стороны и доверился:

— Сегодня я — царь и бог. Ваня молодец, бабё не позвал. Моя сегодня не посмеет меня тормознуть. Давай дёрнем. Чего ждать? Это ж не банкет, обсуждение.

Столики и сидящих за ними зорко оглядывал редактор Ионы Марковича, уже мне знакомый, следил за сменой опустошаемых ёмкостей, мгновенно заменяя их на полные.

Явились и расселись властители дум, небожители. Пришёл и опоздавший мореман Пётр Николаевич. Увидев такое обилие на столах, такое представительство властителей дум за столами, воскликнул:

— За хлеб, за воду и за свободу спасибо нашему советскому народу.

Сел на свободный стул рядом с критиком Веней, закинул нога на ногу. Веня выложил на стол предметы для раскуривания трубки: кiset, коробок спичек, плоскую загнутую на конце металлическую палочку, начерпал трубкой табаку из кисета и стал утаптывать его этой палочкой. Очень всё значительно проделывал.

Всем нам было очень неплохо. Куда лучше: дышали целебным воздухом, спустившимся с гор и растворённым поднимающимся навстречу воздухом морских просторов, что говорить! А обзоры какие! Смотришь на море — не насмотришься. Прямо жмуришься от его сияния, а всё равно хочется смотреть. Птицы для нас концерт устроили, как бы аккомпанируя человеческим голосам.

Читка началась. Она мне очень напоминала описанное Чеховым в рассказе “Ионыч” такое же чтение написанного матерью героини произведения. Там слышно было, как стучат на кухне ножи, готовится угощение, гости томятся ожиданием. У нас ножи не стучали, угощение давно было привезено и приготовлено, и своё произведение читала не барыня, которая сочиняла от скуки, а настоящий писатель. И, как бы я ни иронизировал, писатель хороший.

“В тот, первый послевоенный год мы жили очень трудно. И родители решили отправить меня в деревню к бабушке и дедушке. Они тоже еле-еле сводили концы с концами. У них оставалось два мешка кукурузных початков, бутылка растительного масла, мешочек изюма, немного сушёного мяса и копчёное сало”. В этом месте Владимир Фёдорович пнул меня ногой под столом. Я отлично понял смысл этого пинка. С таким количеством продуктов, которые тут перечислены, по нашим вятским понятиям, можно зимовать.

Слушать было интересно. Городской мальчишка в деревне, познающий труды на земле, впервые встретившийся с лопатой, мотыгой, с кормлением козы и поросёнка, провожавший гусей и уток к пруду и обратно, — всё описано со знанием дела. Иногда и с юмором. Знакомая мне ситуация, когда курице подложили утиные яйца, и она вместе с цыплятами вывела на прогулку утят, и когда они оказались у воды, то утята поплыхались в воду. Бедная мама-курица чуть с куриного ума не сошла. Или как козлёнок напощал мальчишке под коленки. Как прилетели скворцы. Как с дедушкой ходили в погреб за салом. Это вообще замечательно, когда авторы отдадут поклон детству и отрочеству.

Я слушал и всё ожидал, когда же автор будет резать правду-матку о тяжёлой жизни. Может, вот это: приход председателя колхоза, который просил деда выйти на работу, и приезд в село секретаря райкома на общее собрание. На работу дед не смог выйти: болен, занят с внуком, а на собрание пришлось пойти. Пошёл с ним и внук, бабушка осталась готовить ужин. На собрании агитировали подписаться на государственный заём восстановления народного хозяйства. Но так как недавно уже подписывали, как говорится, добровольно-принудительно, то подписка шла со скрипом. Мальчик запомнил, как рассерженный на колхозников секретарь закричал на того, кто отказывался подписаться: “На Гитлера работаешь! — Так он же ж в же не живой”, — сказал кто-то. А другой сельчанин выразился покрепче: “Хрен с ём, подпишусь на заём!”

Читку в самом начале её оживил романист Елизар. Он был с писателем на “ты”, и по праву дружбы, во-первых, а во-вторых, желая совмещать приятное с желаемым, возгласил:

— Ваня, а вот это всё, что на столах, это только для посмотреть?

Иона Маркович даже привскочил:

— Что вы, что вы, что вы! Григорий Петрович, что такое происходит, ты что стоишь, не угощаешь? Давайте, давайте! За встречу!

— Не волнуйтесь, уважаемый автор, — солидно произнёс большой писательский начальник. — Григорий дело туго знает.

— Извините, спиной сижу, — оправдался, но с какой-то поддёвкой Елизар. — Ну, он сказал: поехали. Чтoб нам всю жизнь работать и ни разу не вспотеть!

— Перерыв на аперитив! — услышалось от дверей. Это Яша-драмодел подал реплику. И он пришёл. Без Серёги.

Как только Елизар дал отмашку, слушать стало легче, слушать стало веселее. Гриша свершал круги по веранде, ловко подливая в бокалы из кувшинов. Владимир Фёдорович, пригубив вино, заметил, что оно очень даже тянет и на “Чёрного доктора”. Я же, ничего в винах не понимающий, просто его пил. Очень мне понравились три сорта сыра: мягкий, твёрдый и ноздреватый, домашняя колбаса, тоже нескольких видов, уже упомянутое сало (может, из той же деревни от дедушки) и домашней выпечки пшеничный хлеб, чудом сохранивший благоухающую свежесть, а фруктов было — лучше не перечислять.

Высокое собрание не чинилось. Критик Веня перестал демонстрировать раскуривание трубки, глотнул вина и возгласил: “Вдова Клико”! Елизар



придвинул к себе кувшин и часто заставлял его кланяться своему стакану, но и нашим бокалам его кувшин не забывал отдавать поклон. Один из небожителей вскоре вновь показал Грише пальцем на опустошённый кувшин, на смену которому тут же явился другой, полнѣхонький. Пётр Николаевич, попробовав вино, сморщился, подозвал Гришу, чего-то шепнул, и Гриша слетал за бутылкой коньяка.

Чтение продолжилось. Читал автор хорошо, с лёгким акцентом, иногда делая паузу и взглядывая на собравшихся. К вечеру приятно свежело, море приглушило сияние, отдав его небесам, птицы чирикали потише, тоже вслушиваясь в описание нелёгкой жизни. Закончилось чтение часа через два. В финале повести герой её осмеливается заговорить с соседской девочкой, на которую до этого только издали глядел.

— Вань, ты сам-то вышей, — сказал Елизар.

— Да, конечно, — согласился Иона Маркович. И в самом деле, выпил. И обвёл всех вопрошающим взглядом.

Воцарилось молчание. Но очень краткое. И я буду не прав, если скажу, что хвалили повесть из-за того, что автор её так щедро угощал. Нет, повесть очень даже понравилась. Тем более критиковать шероховатости текста казалось не уместно, это же авторский подстрочник.

Но как может не понравиться описание детства? Да у бабушки-дедушки, да в деревне! Повесть напоминала и “Детские годы Багрова-внука” Аксакова, и повесть Нодара Думбадзе “Я, бабушка, Илико и Иларион”, а там, где мальчик вытаскивает из речки брошенного кем-то щеночка, мелькнуло в памяти “Детство Тёмы” Гарина-Михайловского. Такие работы — благодарный поклон детству, заре жизни — каждый писатель просто обязан написать.

Но никто, конечно, поперёд батек не совался. Ждали первое слово от писательского начальства. И оно прозвучало от вставшего с фужером минеральной воды в руках:

— Иона Маркович, поздравляю!

Аплодисменты освободили начальника от необходимости словесно обосновать своё поздравление. Дружно заговорили. Гриша вновь совершал круги, теперь уже не с кувшинами, а с микрофоном, как бы собирая дань за угощение. Но не могло же быть только славословие, ведь в повести затронуты и сложные темы, например, непосильное налоговое обложение, та же подписка на заём, упомянутые вскользь дезертиры. Да и начальник, не мог же он совсем без замечаний обойтись, выразил своё несогласие с одним из эпизодов:

— Мальчик ночью слышит, как бабушка молится. Он слышит, и мне это напоминает “Детство” Максима Горького. Там тоже бабушка молится, тоже своими словами, тут параллель. Но время, описываемое вами, Иона Маркович, другое. Вы освещаете время, в которое исполнилось тридцать лет советской власти. Так что рекомендую над этим эпизодом подумать. Литература идёт вперёд.

Тут Пётр Николаевич встал во весь свой рост и (он тоже был с хозяином на “ты”) спросил:

— А вот мне интересно: бабушка, увидя в окно секретаря, прячет икону. Это я понимаю, и бабушке твоей, икону спасающей, могу салютовать. Не хватает духа открыто сопротивляться, так хоть икону спасти. Конечно, пример внуку подаёт далеко не лучший.

— У нас атеистическое государство, — подал реплику второй начальник, тоже из секретарей правления.

Но не того стал учить. Пётр Николаевич фыркнул на него:

— Вы ещё скажите, что воинствующего атеизма.

— Да, скажу, — упёрся начальник.

— А в окопе под навесным и трехслойным, перекрёстным и миномётным, и под бомбами много атеистов? И Сталин был, по-вашему, глуп, что церкви открывал?

— Тут политика, тут заигрывания с союзниками. Помощь от них по ленд-лизу усилилась. Студебеккеры, не вам говорить, это не наши полторки.

— Сейчас я не о том, — сурово сказал Петр Николаевич и покосился на Гришу. Тот понял, подскочил и наполнил осиротевший бокал. — Студебеккерами от Бога не откупишься. Хорошо, поговорим потом. Закончу свою мысль.

— Да, конечно, простите, перебил.

— Но бабушка не заменяет икону портретом вождя. Уже спасибо. Пора уже и писать, как бывало у западнцев, про их двухиконность, двухпортретность. “Кум, яка ныне влада?” И портреты на стене и в красном углу, то Ленина, то Петлюры. В зависимости от перемены влады.

— Да нет, друже, нет. Чего нет, того нет, — заверял Иона Маркович.

— Но бывало же?

— То не у нас.

— Добре. То есть “над всей Испанией безоблачное небо”? Поняли? — Он уже ко всем сидящим обращался. — Это сигнал к началу действий, кто не понял, войны в Испании... А теперь транслируем это на СССР. Я спрашиваю: был двадцатый съезд? Был?

— Пётр Николаевич, конечно, был, — урезонил его большой начальник. — Мы повесть обсуждаем, повесть. При чём тут Испания? — Он хотел вернуть застолье в рамки литературного собрания. Но не получилось.

— А раз был, то что мы всё в намёках пребываем? Всё по-прежнему: спасибо партии родной, у нас сегодня выходной. Так? Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это? Хоть за это спасибо. И поэтому всё у нас пойдёт по новой. От одного культа до другого шагаем. То батька усатый, то Никита-кукурузник. Широко шагаем, штаны как бы не порвать. — И Пётр Николаевич, сделав жест рукой, означающий примерно: а что вы мне на это ответите, присел дохлёбывать светло-коричневую жидкость. За его спиной вновь возник Гриша, а в его руках возникла очередная бутылка.

— Силён Пётр, — восхищённо сказал Владимир Фёдорович.

Встал критик Венья. Вновь помахивая трубкой, что выглядело очень солидно, он тезисно изрекал:

— Острые моменты заслушанного текста присущи возрождению советской литературы. Однако застарелые формы руководства литпроцессом, засиле Главлита, несомненно, сковывает инициативу творческой личности. Но это не значит, что этого надо бояться. Я бы посоветовал автору пойти по пути итальянского неореализма. Да, да. Феллини или Антониони, сейчас это неважно, снимая фильм, включал в него заведомо непроходимые эпизоды. Не надо думать, что на Западе свобода волеизъявления. Например, снимает остросоциальную ленту и в самом напряжённом месте включает вид собаки, бегущей по отмели. Опять острый эпизод, опять собака. Комиссия недоумевает: почему собака? Он говорит: я так вижу, для меня это очень важно, и так далее. Потом упирается для виду, потом вырезает собаку, говоря, что наступают на горло его песне, комиссия довольна, и кино идёт к зрителю. Таких “собак” я бы посоветовал разметать по тексту. Вдобавок это было бы и амбивалентностью. Вы, Иона Маркович, несмотря на возраст аксакала, легко владеете тем приёмом современной литературы, который некоторые критики называют постмодернизмом, а я бы назвал новаторством традиции. Да, такой термин возник в моём сознании, когда я слушал ваше чтение. Новаторство традиции! — Довольный собою, Венья чокнулся с мореманом.

— Ваня, — проникновенно сказал размякший от радости отсутствия строгой супруги и от угощения Елизар, — вот что важно, Ваня. Ты Иона, а зовём тебя Ваня. Имя твоё объединяет Советский Союз. Вспомним армейскую песню-марш “У нас в подразделении хороший есть солдат, он о родной Армении рассказывать нам рад. Парень хороший, парень хороший, как тебя зовут? — По-армянски Ованес, а по-русски Ваня”. — Дальше в каждом куплете новая национальность. По-молдавски Иванэ, а по-русски Ваня. По-грузински я Ванно, по-литовски (эстонски-латышски ещё как-то), но всё равно Ваня. И ты Иона — Иван, и ты нас объединяешь. И повесть твоя стопроцентна.

— Спасибо, спасибо, Елизар, — растроганно говорил Иона Маркович.

— А имя Иван, Иоанн восходит к древнееврейскому, — с гордостью вставил Яша-драматург.

— Без интернационала нам никак нельзя, — сказал довольный начальник.

— Иоанны у них были, но Вани у них всё-таки не было. Я так думаю, — заметил Елизар.

Обсуждение повести, пропитанное застольем, плавно шло к идеальному финалу. Но вновь выступил мореман. Вновь он стоял с бокалом коньяка в левой руке, а правую поднял, будто голосовал или слова просил:

— На эту песню есть пародия: “У нас в подразделении хороший есть солдат, пошёл он в увольнение и пропил автомат”. А пародия показывает фальшь того, что пародирует. Какая дружба народов, что людей смешить? — Сделав небольшую паузу и качнувшись на ногах, продолжил: — Внутри одного народа ещё есть какая-то солидарность, своих тянут, а к чужим любовь только у русских. Своих пожирают, других привечают. В Сибири всю нефть, всю нефтянку хохлы захватили. А в Кремле, уж я-то бывал в ЦК на Старой площади, ходил по этажам, читал таблички — сплошь украинизация. Кой-где грузинская фамилия мелькнёт да прибалтийская.

— Нормально, — одобрил Владимир Фёдорович, издали приветствуя оратора приподнятым стаканом. А мне заметил: — Молодец Петька. У него же и “За отвагу”, и солдатская “Слава”.

— А почему это нам Африка дороже своих областей и волостей? — продолжал Пётр Николаевич. — А? И Раймонда Дьен, которая на рельсах лежит, про неё уже опера, и Патрис Лумумба Африку освобождает, и Манолис Глезос в Греции флаг срывает, и Поль Робсон для всех поёт. Всех мы любим. Этот мальчишка в Италии, Робертино Лоретти, только его и слушали. Своих не было? Он голос потерял, мутация, так у меня внучка чуть с ума не сошла: “Дедушка, дай пять рублей, мы деньги для него собираем”. А у него уже бензоколонка. Все нам дороги, все хороши, всех спасаем. Кроме своих, кроме парня Вани, правильно Елизар начал про Ваню говорить. Русский Ваня, который всех их талантливее. Но пропадёт в безвестии, ему не на что выехать из нищей деревни, его из колхоза не выпустят — надо город кормить. У Вани паспорта нет. Это вот сейчас КПСС, а давно ли было ВКП, в скобках бэ. ВКП(б). Как расшифровывали? Второе крепостное право большевиков.

— Есть уже, есть паспорта, — испуганно успокаивал моремана большой начальник.

— Спихватились, — надменно сказал мореман. — Почему парни рвались в армию? Паспорт давали. А на целину? То же самое. Вот об этом кто-нибудь напишет? Или так всё и будем колебаться вместе с линией партии? Одну официальщину гоним. Да все мы, писатели — шестёрки при нынешней власти. А писатель обязан быть в оппозиции! Иначе тишь да гладь, ведущая в болото.

— Пётр Николаевич, успокойтесь, уже всё налажено, — говорил начальник. — Ну что, товарищи, поблагодарим Иону Марковича?

Мы похлопали. Пётр Николаевич, завладев вниманием, упускать его не захотел. И заявил, отпив из бокала и не садясь:

— А Босфор и Дарданеллы надо было брать! Надо было. И мы бы владели миром. Мы же собирались идти “под знаменем вольности” до самого Ла-Манша. Есенина Сергея читали? А Босфор, Дарданеллы совсем рядом. И нас поддержали бы евреи. Ведь мы вернули им государство.

— Да, это так! — воскликнул Яша-драматург. — Да! Это главный итог войны. Две тысячи лет скитаний закончены. Начало всесветного социализма. По Энгельсу, социализм наступает тогда, когда кочевые народы становятся оседлыми. Евреи уже стали. Остались цыгане.

— О евреях можно не заботиться, они сами лучше всех это делают, — это вновь Пётр Николаевич.

— Мы столько перестрадали! — возопил драматург Яша.

— Разве я что говорю, Яша? Яша, я тебя жалею и от погромов укрою. Я о родимой партии. “Ваше поле каменисто, наше каменистее. Ваши девки коммунистки, наши коммунистее!” Вот русский язык, полный неологизмов и потаённого смысла.

— Пётр Николаевич, — разгневался главный начальник, — вы же член партии!

— Я вообще многочлен! — отвечал ему на это Пётр Николаевич. — Я между боями в неё вступал. Партбилет в санчасть принесли. Да, коммунист, не стыжусь! И в глаза всем скажу: не всё в порядке в Датском королевстве! Зажралась партократия! К Брежневу это не относится. Он вояка! Попробуйте на катерке политотдела два-три раза в день под обстрелом залив пересекать. Были в Новороссийске? У него есть биография! Что ему от Никиты досталось? Кукуруза? Униженный Сталинград? Гонения на церковь? Нет, Брежнев — наш человек! И если с Фиделем на охоту съездит, что из того? Я о номенклатуре. Везде же уже по областям, а приедь в любую республику, и по республикам, у партократов поместья, охотничьи домики в два этажа, скоро в три будут. Иди, неси им горе народное. Донесёшь, да не попадёшь. Везде же охрана. Как поётся: “А за городом заборы, за заборами вожди”.

— Спасибо, Иона Маркович! — Наши литературные вожди встали и покинули веранду.

— А вот ещё тема: инвалиды! — крикнул им вслед Пётр Николаевич. — Несмываемый позор на всю страну! Как убирали с улиц и площадей инвалидов, калек, слепых, безногих, безруких. Самовары! Прятали. Это что? Это не прощаемо! У меня был друг фронтовой. На протезах. Ему и коляску уже достали. Вдруг его увезли. Куда? Сказали: в дом инвалидов на гособеспечение. А их сваливали в одну кучу на Валааме. Вот где победители. Где друг мой Алёшка? — Пётр Николаевич поднял взгляд к потолку веранды, покрытому выющейся зеленью. Будто что услышал. — Да! Чего это, кто это с чего взял, что литература идёт вперёд? Вперёд, ребята, сзади немцы — так она идёт.

Владимир Фёдорович подошёл к нему, и они присели за отдельный столик. Я хотел было пойти на свой первый этаж, но был задержан Гришей.

Между тем смеркалось. На юге рано и резко темнеет.

### Послесловие к читке

На веранде зажёгся свет. Это Гриша позаботился. Мы подходили к Ионе Марковичу, благодарили. А он не мог понять, за что мы его благодарим, за чтение или за угощение. Но мы дружно уверяли, что и за то, и за другое. Очень довольный Елизар, прихватив в дорогу баклажку, налитую Гришей, обнимал Иону Марковича:

— Ваня! От всего сердца, от души, от всей печёнки, от всей селезёнки! От мочевого пузыря! Да, Ваня, прошиб! Жить захотелось! Гриша! Салют!

Ушёл. Ушёл и Пётр Николаевич. Владимир Фёдорович, проводив его, сказал:

— Ваня, я бы так тебе посоветовал с повестью поступить, да это и всем нам надо. Пусть полежит. Она сейчас горячая, надо остыть. Сейчас всё тебе в ней дорого. Ещё бы — дитя новорождённое. Отойди от неё, займись другим. А потом достань и читай как чужую. И сам увидишь, где убавить, где прибавить.

Виновник торжества выпивал и благодарил.

— Отлично, отлично, — говорил критик Веня. — Как написал Саня Вампилов: “Побольше бы таких собраний”, — говорили довольные трудящиеся”.

Гриша, видно было, тоже был доволен. Персонально подскочил к Владимиру Фёдоровичу, спрашивая, не нужно ли ещё чего-нибудь.

— Нет, что ты, — мы же не в два пуза едим. Слушай, Гриша, а когда у вас первая зелень?

— Где-то к середине-концу марта.

— Ну что, — спросил я Гришу, — набралось на рецензию?

— Не только. Расшифрую записи, перегоню на машинку, разошлю по адресам для вычитки, для ещё дополнений, будем издавать книгу об Ионе Марковиче, всё вставим. — И предложил: — Может быть, и вы что-то скажете на магнитофон?

— Скажи, скажи, — подбодрил Владимир Фёдорович.

— Включаю.

— Скажу, что такие обращения к детству — это традиция русской, да и вообще мировой, литературы. “История Тома Джонса, найдёныша”, “Дети подземелья” Короленко...

— Традиция, да! — подержал тут же подскочивший Вениа. — Но Иона Маркович её новаторски осовременил. Что я и сказал в выступлении. Новаторство традиции! Есть предложение, нет возражений? Гриша, записывает?

— “Грюндиг”! — похвалился Гриша.

— Отметь особо: это новаторский прорыв старшего поколения, когда реализм изображаемого погружается в подсознание, когда в контексте ощущается мощь подтекста и — внимание — новая реальность современной прозы и критики — веяние надтекста. Понял? — победно спросил он меня.

— Как не понять, я счастлив, я счастлив, что живу с тобой в одно время.

— Именно! За нами будущее. Старшее поколение ощущает накат волны идущей на смену молодёжи и начинает ей подражать.

— Волне или молодёжи? — не утерпел я спросить.

— Будем дружить! — возгласил Вениа. — Да, Гриша, не выключай. Тричетыре! В новом произведении звучит такая лирическая ноточка, ниточка такая, которая превращается в лейтмотив звучания, нить эта не нить Ариадны, вошедшая в бытовую фольклор, а блестяще найденная автором путеводная нить высокого искусства... Так, Гриша, я уже мысленно пишу предислужку к твоему сборнику.

Драмодел Яша делился своей проблемой:

— Запиши, Гриша: у нас всё Москва и Москва, везде Москва. Шагу без неё не ступи. С этой московской зависимостью литература и кино в СССР тормозятся.

— Как это? — не выдержал я, в данном случае — представитель московского издательства.

— Но всё же каждую позицию приходится утверждать: в издании книг шагу не ступишь без Комитета по печати, отдела координации, а кино? У меня на студиях страны идут фильмы. И все их — все! — взвизнул он, — надо визировать в Госкино. А там ещё те зубры сидят. “Почему это у него сразу несколько лент?” Да потому, — пафосно произнёс Яша, — потому, что они нужны, актуальны, сверхархиважны, как сказал бы Ленин, утверждавший, что из всех искусств для нас — писатели, не обижайтесь! — из всех искусств важнейшим является кино. А в Госкино, уж где-где, казалось бы, идёт глушение инициативы снизу. А — уже сразу скажу — театр! Тут вообще беспредел — опять же утверждение, сдача каждой постановки начальству.

— И правильно, — утвердил всезнающий Вениа. — Нужна не такая цензура, но нравственная! Издевательство над классикой постоянно. Ни кино, ни театр, ни телеящик без написанного писателем шагу не ступят. Всегда в начале слово, в основе всего. Это даже и в Библии есть, почитайте. Но это слово в театре интерпретируется. Вдумайтесь, какое слово: интерпретация.

— Интерпретация. — Это я вставил.

— Да. — Вениа или притворился глухим, или в самом деле не заметил сарказма. — А вот есть явление, появился на Южном Урале драматург Скворцов. Константин. Дивное дело — пишет в традициях и народной, и античной драмы. Его ставят. И люди смотрят. В Челябинске пьеса о злоустинских мастерах “Отечество мы не меняем”. Замечательно! Я видел на декаде культуры. А ставить извращённую классику — дело неумное. Вот Таганка, Любимов, Высоцкий. Вот Пугачёв, Хлопуша, крик, надрыв, где тут Есенин? Тут Любимов. А с другой стороны — Гельман, Мишарин, тринадцатый председатель, проблемы производства в свете морального кодекса. Авторы есть — театра нет.

— А чего ты про Скворцова?

— Его перевернуть нельзя. Попробуйте Софокла “Антигону” или “Ифигению в Авлиде” прочесть, выдёргивая куски, собьёте со смысла.

— Наливаю! — воскликнул Гриша.

Мы, немногие оставшиеся, дружно выпили и отвальную, и стремянную, и закурганную. Но одержать победу над винно-коньячными запасами Ионы Марковича и закусками при них мы оказались не в силах.

И, как пишут журналисты о свершениях тружеников народного хозяйства, усталые, но довольные, мы возвращались.

— Давай продышимся, — сказал Владимир Фёдорович. Мы пошли вокруг Дома творчества. — Знаешь, почему у них не будет литературы? Обратил внимание в начале, сколько всего, когда он приехал в деревню, оставалось еды у бабушки и дедушки?

— Ещё бы!

— Вот, ты сразу понял. Я Гришу спросил неспроста. Если появилась после зимы зелень, если до неё дожили, значит, выжили. Пестики, сивериха на ёлках, свечечки на соснах, там дикий лук, кислёнка-щавель — это же всё съедобно, тебе ли объяснять? Они того, что мы испытывали, не испытали. Не пережили. Два мешка кукурузы! Мешок муки! Бутыль масла! Может, они Никите и посоветовали кукурузу сажать. “О, Русь, себя не кукурузь!” Кто это написал, не знаешь? Неплохо, да? “Кукурузу — в Сиракузы, кукуруза — нам обуза”. — Мы уже завершали круг. Уже поднялись на крыльцо. Он взялся за дверную ручку. — У нас за четыре мешка сорной пшеницы посадили. Да, подлинный случай. — Он засмеялся вдруг: — Ну, Петя, орёл! Фантомас разбушевался. А ему уже терять нечего. Его и генералитет поэтому не прерывал.

— Почему?

— Ты не знаешь?

— Что именно?

— Рак. Неоперабельный.

— Нет, — растерянно сказал я. — Не знал.

— Да-а. — Он помолчал. — А у тебя как, идёт дело? Только честно.

— Честно: никак.

Мне даже стало легче, что я признался. А куда денешься, он же мне помог приехать в Дом творчества. А творчества никакого. Не оправдал доверия. Жену туфель лишил.

От дальнейшего объяснения меня избавила парочка, выходящая из корпуса на вечерний моцион: Серёга и Ганна-Жанна. Рыже-огненная, она прямо вестибюль осветила. Их пародист Петя прозвал Пара-цвай. Владимир Фёдорович поспешно ушёл. Серёга меня представил.

— Ты с обсуждения? И как там? Всё гениально? — И, не давая ответить, продолжал: — Я тоже хотел пойти, а потом спрашиваю Жанну: тебя позвали? Она: нет. Ну, друзья мои, я не азиат, без дамы не пойду. А идти просить? Ну, такое не для нас, друзья мои. Это не апломб, а, если хотите, этикет. Да, Жанночка? — Жанна неопределённо хмыкнула. — Жанна, ты ему, — это он обо мне, — потом расскажи о том, как всё было с Рубцовым. — И уже для меня добавил: — Жанна с ними была знакома. И с этой, Дербиной, которая задушила, и с Колей. С Колей-то мы корешили, я тебе рассказывал. Так я и с Володей Фирсовым, с Геной Серебряковым, с Володей Цыбиным заединчики, на страже родины. Они не этот Евтух, который всегда на баррикадах. То в одну сторону постреляет, то в другую.

— Ты и с Пушкиным на дружеской ноге, — насмешливо сказала Жанна.

То есть использовал меня Серёжа, чтобы перед Жанной-Ганной выхвалиться. Никто его на читку не звал, и с Рубцовым вряд ли он корешил. Сейчас у Рубцова столько друзей развелось. А при жизни часто и переночевать негде было.

В номере меня ждал подарок: на полу спал Сашок. На столе записка, закрывающая налитый до половины стакан: “Употреби”.

### Надо и мне собираться

Утром записка осталась, но прикрывала она уже не половину, а четверть стакана. То есть, как ни рано я встал, Сашок встал ещё раньше, отхлебнул, опохмелился и двинул на свои труды. Или, скорее, стеснялся за своё вторжение.

И опять мы бежали к морю. Уже сверху рубашек пришлось надеть свитера. На берегу торопились свершить обряд погружения, скорее одеться и обратно. Зрителей не наблюдалось. Быстро одевались.

— “Борода моя, бородка, до чего ты довела, — шутил Владимир Фёдорович о моей небритости, — говорили раньше: щётка, говорят теперь: метла”. Правильно делаешь, от неё теплее. Скоро зима. А летом прохладнее.

— Дедушки же с бородами были. Потом на время прервалось, отец брился. А мне надо семейную традицию возродить. Да и говорят же: мужчина без бороды всё равно, что женщина с бородой. Или ещё: поцелуй без бороды, что яйцо без соли.

— Без карломарксовой? — засмеялся Владимир Фёдорович. — У ленинской бородки всех бы женщин увёл. — И обратился к прибою: — Эх море-моряшко: завтра у меня последний разочек. — Раньше тебя приехали, раньше уедем. Без меня побежишь?

— Но, когда меня не было, вы же бегали сюда?

— А как же. Но с тобой повеселее. Побежишь в одиночку?

— Как прикажете.

— Беги! И за меня тоже искупнись.

Назавтра мы его провожали. Вывалил весь корпус. Соизволило и начальство. Пётр Николаевич вышел, Венья отметился, конечно, Серёга и Жанна, пара-цвай, вышли на крыльцо. С ними уже часто и драматург Яша гулял, крутился тут же. Владимир Фёдорович отвёл меня в сторону.

— Всё-таки я доцарапал повесть. Назвал “Ночь после выпуска”, нормально? Выкинули молодяк в жизнь, а жизни не научили. Хотел вам с Натасей вслух прочитать, не получилось. Теперь, без паузы, сажусь за следующую. “Четыре мешка сорной пшеницы” назову. Нормально? Не переживай, что мало сделал.

— Да вроде уже пошло, — доложил я.

— Никуда оно не денется, — подбодрил наставник. — Ты тут, по крайней мере, увидел цеховое содружество. Увидел? Понял, что его нет? И не надо. Каждый за себя, а все вместе — за литературу.

— А литература за народ?

— Хорошо бы! Да, видишь, пока не получается. А как получится, если за поэзию считают рифмованную борьбу за мир да всякие параболы, а за прозу — разоблачение культа личности. Смелые! Оказывается, сказать элементарную правду — это смелость.

Наталии Григорьевне принесли цветы.

Подошла литфондовская машина. Они погрузились и уехали. И мне очень захотелось уехать. Прямо сейчас: опустел для меня Дом творчества, осиротела тропа к морю. Но подошёл, взял под руку меня Пётр Николаевич:

— Мне Володя велел тебя опекать. Пойдём выпьем.

— А можно нет? Но я могу рядом постоять.

— На нет и суда нет. Можно. Проверку на вшивость ты прошёл. Иди, садись, трудись. Ничего нам, брат ты мой, не остаётся. Давай пройдемся. Я ведь нынче последний раз приехал, прощаться приехал. С Ялтой. Мы каждый год приезжали с Настей, а нынче, братишечка, я впервые один. И везде хожу, и везде слёзы лью. Тут были с Настей, тут посидели, тут я её огорчил, эту лавочку она любила, вязала тут мне каждую осень носки шерстяные, вот я и хожу от её заботы, хотя ноги стреляные. Везде Настя. На меня, как её похоронил, ещё на поминках нашествие началось. Много же вдов, знакомых её много, все по новой стали невесты. “Мы будем приходить, составим график”, — это подруги её. А одну, ещё совсем удалая, особенно нахваливают. Ну, уж нет, они все вместе взятые мизинца её не стоят. Вот, — он достал из нагрудного кармана фотографию. — А глаза, видишь, какие глаза: чувствовала. Эх, милая! Как бы я тебе после этого отчитался при встрече? Что на твою кухню другую допустил? Чтоб мне рубахи не ты стирала? — Он убрал фотографию. — Мне бы тяжелей было, если б я первый отстрелялся, её опечалил. А так всё по-Божески.

Мы прошли по аллее до конца, вернулись. Ещё раз прошли.

— Так и мы гуляли. “Петя, — она говорит, — какой воздух”. Вот и я приехал в память о ней подышать. Да перед смертью не надышишься.

Мы присели на “Настину скамью”.

— Русские у нас везде ущемлены, — сказал он. — Шолохов Брежневу написал о засилии космополитов в кино и литературе, о псевдонимистах, от фамилий отцов ради выгоды отказавшихся. Об издательстве в кино над русской историей. И что? И тот умудрился написать резолюцию: “Разъясните товарищу Шолохову, что в СССР нет опасности для русского искусства”. Хвалю Брежнева: Лёня-Лёня, а в главном он оказался близоруким. Что удивляться: всегда в России царь-батюшка хорош, бояре плохи. И пошли тут всякие Солженицыны, сам-то он очень Никите угодил, тот Сталину мстил, да расплодился рифмачи, которым кому ни служить, лишь бы честь и поклонение да валюта. Давно ли прошло столетие Ленина, уж сколько на эту тему было анекдотов. И никакого ему в них народного почтения. Выпустили юбилейный рубль-монету, тут же: “Скинемся по лысому?” Или: алкаш достаёт монету, Ильичу говорит: “У меня не мавзолей, не залежишься”. А наши строчкогоны везде наварят. У Вознесенского такой прямо надрыв: ах, “уберите Ленина с денег, он для сердца и для знамён”. А про школу Лонжюмо, где готовили террористов, учили убивать, сочинил полную дикость: что русская эмиграция — это Россия, а в самой России среди “великодержавных харь проезжает глава эмиграции — царь”. А дальше слушай: “России сердце само билось в городе с дальним именем — Лонжюмо”. Вообще — полный кощунник: “Чайка — плавки Бога”. Это уже такая мерзость. Рождественский шаги к мавзолею считал, тоже на поэму насчитал. Коротич, и этот поэму настрогал про дополнительный том собрания сочинений. Срам! Сулейменов тоже отметился, но он Ленина сделал тюрком, своим угодил. Все на премии рассчитывали. Иначе-то бы чего ради надрывались? И выскребли. Могут. Евтушенко вообще без передышки молотил всякие “Братские ГЭС”, где египетская пирамида говорит с плотиной электростанции, да “Казанский университет”, где Володя Ульянов занятия срывал. Противно всё это. А они в фаворе. А молодежь смотрит: вот на кого надо равняться, вот они где, успешные. А это всё ширпотреб. Есть же Горбовский, Костров, Кунаев, Передреев, Старшинов, Кузнецов. Лёша Решетов в Перми. Поэты! И поэты в прозе сильные: Юра Казаков, Юра Куранов, Жёня Носов, два Виктора: Лихоносов, Потанин.

Пётр Николаевич опёрся о скамью и встал:

— Вишь, какую тебе лекцию закатил. Люблю поэзию. Сам в молодости грешил. Но понял, что пишу хуже классиков. Хватило ума. — Мы как-то невольно вновь пошли по кругу. — Послушали мы национального классика, а мы кто? Мы, русские? Мы национальные или нет? Нет, мы — советские. Вот Иона, уже у него и подстрочник готов. То есть у него в республике выйдет повесть на их языке и на русском языке. И напишут сценарий, и кино снимут, и сделают театральную постановку. И Москва его издаст, да книгой, и в журнале. И в “Роман-газете”. И за всё заплатят ему по высшей шкале. Разве так есть у русских? Этот главный наш, ему я на читке не угодил, меня потом успокаивал: нужен класс богатых, они будут меценатами, покровителями. Новые Морозовы и Саввы Мамонтовы нужны. Богатые богатеют за счёт роста бедности. — Он остановился. — Всё, хватит. Заболтал я тебя.

### К любимой сосне

Очень тяжело было пожимать его руку. Но он так бодро и сильно стиснул мою ладонь, так крепко хлопнул по плечу, что я постарался не унывать. Договорились, что сядем на обеде за одним столом. То есть он сядет на место Владимира Фёдоровича.

Я пошёл в номер, но понял, что, хотя наконец-то моя работа пошла-поехала, сразу сейчас, после их отъезда и разговора с Петром Николаевичем, сесть за неё не смогу.

И пошагал я в гору к своей любимой сосне.

И пришагал.

И закарабкался повыше. Утвердился в развилке сучьев, как в кресле, расселся в нём и озирал свои владения, как полновластный хозяин. Вот там



были в винных подвалах, там сидели, пили “марганцовку”, там, за зеленью прибрежного парка, берег, на который прибегали каждое утро. Там кафе “Ореанда”, там причал, туда дом Чехова, а туда — я обратил взгляд на горы — к северу, семья моя, Москва, а восточнее родина — Вятка. Только её воздухом можно надыхаться. Хотя и в Ялте он неплох.

Так бы и уснул в этом кресле-качалке, да ведь не обезьяна, свалиться можно.

На обеде ко мне посадили не только Петра Николаевича, но и Серёгу с Жанной. Об этом просила меня Соня. Пожурила, что не принёс ей вещи для стирки. Мы говорили легко, как брат и сестра. Заметила, что я сейчас гораздо лучше выгляжу, чем при заезде. Сказала, что сейчас у неё на работе Оля и что Оля сделала для меня маленький подарок. Я проводил её к её столу.

— Соня, извините меня, я слово одно замолвлю за Сашу. Я к нему пригледелся, он очень порядочный. Мелочи не в счёт. Буду говорить напрямик. Он вас любит. Да-да, не перебивайте. Знаю, что вам вернуться на север одной, с дочерью, трудно. А с хорошим мужем очень даже прилично.

Соня смущенно засмеялась:

— Ничего себе, поворотик сюжета. Я и не говорю, что Саша плохой. Тут его избаловали.

— Соня, он может быть верным. Если мужчину любят искренне, он на сторону не пойдёт.

Олечка подбежала и не дала закончить разговор. Я только и успел сказать:

— Олечка вся в него.

Соня даже вспыхнула. Оля мне подарила шишку, превращённую в симпатичного ёжика. Сказала, чтобы я отвёз его своей Катечке.

Но самое-самое главное: работа моя понеслась, вот что! Это было так освежающе и так успокоилась душа, что я писал с огромной скоростью, только и боясь, чтоб что-то не помешало. Бежал на завтрак-обед-ужин пораньше, быстро поглощал еду, не понимая, что ем, быстро убегал, обегая стороной мужской клуб. Даже раз столкнулся с Соней и не сразу узнал: был занят мыслями о работе. Да, дождался, заработал счастье работы страданиями. И тут скажи мне даже, что меня зовёт к себе в шатёр Шамаханская царица, я бы и от царицы отмахнулся. Ни одной странички ни на какую царицу не променяю.

Да, но времени уже не оставалось. Прибежал в одиночестве утром к морю — холодища! Непокойно синее море. Окунулся за себя, проплыл. Выскочил. Но надо же и за учителя. А за него побольше надо. Заплыл, выплыл, трясусь. Простыл.

И резко затемпературил. В последнее утро прощального погружения исполнить не смог. На завтрак не пошёл. Конечно, сразу пришла Соня, потом медсестра, врач. Оставляли, продляли срок, но я не поддался на уговоры.

И на завтра уехал в Симферополь. А там на поезд. Билет на это число у меня был куплен заранее.